
Александр ЛЕПЕЩЕНКО

ДНЕВНИК ВЛАДИМИРА НЕОБХОДИМОВИЧА НЕИСТОВОГО

Повесть

Предисловие

Не так давно Владимир Необходимович, направляясь «в Персию», умер. Странная, право, смерть!.. На меня то ли какая-то одурь напала, то ли что-то заплесневело... «Он прожил жизнь», — вот и все, что услышал я от Сущего, который вел дело. Даже теперь, когда все закончилось, не могу забыть, как следователь говорил это, глядя мне в глаза, блудя улыбкой. Впрочем, он тогда не улыбался. А я, ну а я предвзят... Налит ненавистью только потому, что Эмма Вилкас предпочла его, а не меня. О, нет, не без оснований я, Алешка Гореликов, подвергаю себя скуке разоблачения... Пора повиниться. Во всем. Самому себе, а больше некому. И да, не отгостить мне теперь в иных домах. С родителем я не общаюсь — у него «другая чудесная семья». С матушкой? Матушку Господь прибрал... Еще в прошлом году, на Троицу... Такое вот утешение... А может, ткнуться к коллегам-учителям? Наперед вижу нашу добрейшую Спивакову: «Гм, „вам нужно руководителя, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало?..“ О, верьте дражайший, Алексей Алексеич, я вполне сочувствую...» Вот это «вполне» и не дает оглупеть до того, чтобы оплакать Спиваковой весь жилет. То есть и жилет я могу оплакать лишь самому себе... Но я не ношу его... Значит, что, сорочку? Конечно... «Душе грешно без тела, как телу без сорочки...»

Эх, мне бы сочных, утешающих звезд! Но нет — вот тебе муки. Муки и вопросы... Как я оказался в чине предателя? Отчего усомнился, что Эмма с сестрами непреднамеренно убила родителя? Отчего и теперь не верю в «аффект безумства и помешательства»? Наверное, я никогда не любил ее по-настоящему... После суда я приходил к Эмме объясниться, был у нее и месяц назад... Но ни тогда, ни теперь она не захо-

Александр Анатольевич Лепещенко родился в 1977 году. Окончил факультет журналистики Волгоградского государственного университета. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, главный редактор литературного журнала «Отчий край». Лауреат премии имени Виктора Канунникова (2008), лауреат Международного литературного форума «Золотой витязь» (2016 и 2018), лауреат Южно-Уральской международной литературной премии (2017), победитель Международного конкурса короткого рассказа «На пути к гармонии» (2018) и «В лабиринте метаморфоз» (2019), дипломант литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина (2019), финалист Национальной литературной премии имени В. Г. Распутина (2020). Автор четырех книг прозы. Публиковался в литературных журналах «Московский вестник», «Нева», «Литература», «Российский колокол», «Приокские зори», «Истоки», «Волга XXI век», «Образ», «9Муз» (Греция), «Камертон», «Перископ» и др. Живет в Волгограде.

тела разговаривать. Только я сомневаюсь, что она не смогла бы простить, тем более десять лет спустя. Думаю, тут, как у Толстого... «Я знал, что он знал, что я знал, что он знал...» В данном случае — она... Так вот, убийство было самым что ни на есть преднамеренным... Двенадцать ударов ножом — это как раз для того, чтобы вытащить потом из рукава пресловутый аффект. Сущий и вытащил. На Достоевщину пошел. Запредставлялся бедовый. А Эмма, Эмма — актриса... Подыграла... Это, конечно, еще можно оспорить... Можно... А вот факт покупки садового — «рогожинского» — ножа неоспорим. Так получилось, что я был с Эммой, когда она его выбирала. Загодя. А значит, готовилась. А значит, не исключено, что и сестер науськивала. Впрочем, изверг отец заслужил того, что с ним случилось.

А впрочем, все чего-то да заслуживают. Сущий вон «вырвал радость у грядущих дней» и теперь с Эммой. А Эмма... Здесь я, право, затрудняюсь решить... Ну а что у меня? У меня — дневник Владимира Необходимовича. И хотя дневник этот совершенно мой, опубликовать его я не смею по многим важным причинам. Та, которую, например, выставлял издатель журнала Печорина, вообще не состоятельна. Я не могу действовать с «коварной нескромностью истинного друга» только потому, что с Владимиром Необходимовичем друзьями в привычном значении мы все-таки не были. Между мною двадцатилетним и им сорокашестилетним «дистанции огромного размера»... Следовательно, я «не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтобы разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений». Словом, ничего такого не воспоследует. Разве что прочитаю дневник Владимира Необходимовича. Клятва ли это бескровная? Красный ли флажок, за который не могли заходить? Не знаю.

Петров Вал

11 мая

Петров Вал — самый скверный городишко на всей Приволжской железной дороге. На станции продают рыбу, много рыбы. Такая великая скудность пустыни! Там нет ничего, кроме отлакированных рельсов, неба и порожнего песка. Впрочем, рядом пролегают сухие русла канала, которые и дают ему, городишку, название — Петров Вал. Эти русла свидетельствуют о неудачной попытке при Петре I обжечь Волгу с Доном. Тогда сплошного судового хода не получилось — время наложило свою длань.

А теперь? Теперь даже не длань, а лапа наложена... Причем на мою собственную жизнь... Петров Вал обманул; жить стало хуже. Но остаться в Петровом Вале или уехать зависит не столько от меня, сколько от семьи. Время нас разделяет. Неужели так и кончится все?

Работа? Иной раз думается, что у меня нет общественного будущего. Странно, конечно, ведь за меня держатся крепко, высшие чины «обожают»: говорят, «настоящий директор школы, какой нам нужен был...» Только я это отмечаю, поскольку знаю цену ласки начальства. Фу, таким быть!

Мечта? О, мечта давно отстала от меня. Легко понять почему — я не сумел сделать из жизни то, о чем мечтал в ранние годы. А литература? Нет, не отстала. Она и есть — хорошее и бесценное. Как тут не вспомнить Салтыкова-Щедрина? «Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти...» Беда только в том, что это не касается литературы современной. Увы, не встречаю в ней сродников! Классики куда как роднее, современнее, авангарднее. Тот же Ломоносов, например, со своими допушкинскими ямбами; Лермонтов со всем своим (и поэтическим, и прозаическим);

Гоголь, конечно, идущий «верным путем и тесными вратами»; Достоевский, искушающийся красотой библейского слога и как никто иной толкующий Евангелие; Бунин, пишущий о смерти, обратившейся (что спорно) в «вопрос стиля, простой литературный прием, разрешение музыкальной темы»; Набоков, ставящий (что не менее спорно) Бунина-прозаика ниже Тургенева; несомненно, Платонов, у которого «все вырастает на основании страдания и одиночества»; Булгаков, будучи истинным Мастером, не осквернивший таки образа Маргариты гнусной содомией; и, разумеется, Маяковский, заставивший «часы русской поэзии пойти по-другому». А впрочем, впрочем, возрадуюсь: есть у меня все же сродник из современников... Саша Соколов, не желающий «на полном серьезе мусолить внешние признаки бытия». Вот он, Соколов, разговорчик-то не изжевал... Ну, чего греха таить, «Школа для дураков» действительно «обаятельная, трагическая и трогательная книга». Право, хоть раз, да горазд! А что же литература о литературе? К кому обратить взоры? Да не к кому... Одна только «писаревщина наизнанку...» Ни Тынянова, ни Шкловского... Эти хотя бы искали инструмент, освоив который можно было вторить пушкинскому Сальери: «Музыку я разъял, как труп». И да, при случае, коли допустить возможность одного, я, конечно бы, поинтересовался у того же Шкловского: «Что это вы, досточтимый Виктор Борисович, не „разъяли“ Платонова, ничего не написали о нем, а ведь водили знакомство?» Сам же Платонов «не столько писал, сколько пытался написать правду...» Как он ее видел: «Кто думает, что естественным выходом из страдания является смерть, тот имеет неправильное представление о возможностях человеческого сердца...»

Я, видимо, тоже имею неправильное представление...

Может, оттого и нужна мне свобода? Может, оттого и не думается спокойно? Я больше не могу ходить в присутствии... Директорствовать... А еще я не могу быть с семьей. Семью разъедает язва — непонятная подлость... Как же так повернулось? Как во всем разобраться? Только изучив «жизненный материал, называемый Достоевским, подробностями текущей жизни», станет ясно, куда именно я забрел...

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины...

Иначе говоря, толкаясь среди людей тридцать пять лет, я лишь теперь узнал их наново. Не поздно ли? Это после смерти поздно, когда...

Солнца луч умолк...

В моем же случае, вероятно, поздно иное — быть соотнесенным с людьми. Думается, однако, что соотнесенность необходимо нужна только в том случае, если она нужна самим людям. Но по-моему, сие их нисколько теперь не заботит. Вот в этом мука ужасная и сидит. Да что говорить, если с кем и соотнесен я, так это с Александрой Терентьевной Диалектовой... Сашенькой... Разнесчастной сестрицей супруги моей Аглаи...

Рассудок Сашеньки временами помрачается, но даже тогда в «желтый дом» ее не помещают. Ведь она никому не способна причинить вреда, ну разве что себе, болезненной. Потом, конечно, от таблеток и порошков сознание ее постепенно проясняется. Все приходит в некую сомнительную норму. Колесо едет дальше. Ох уж это колесо!

Из вороха мыслей о Сашеньке выскребается одна: «А ведь из-за Диалектова своего мытарится... Андрон, Андрон... Это ведь про него сказано — андроны едут... Ну вот

на каком птичьем наречье он с нею изъясняется? Не постигаю... И все-таки кое в чем я убежден: пожив с этим лобозуким, глаза Сашеньки и загорелись непонятым огнем...»

И не в том, конечно, беда, что Сашенька с Андроном долго-долго в «дешевых мебелирашках» ютились. Это нынче у многих так — и скудность в карманах, и порядочные трущобы. Но ничего, живут, любят, страдают, радуются. У Диалектовых же свелось как раз к той самой соотнесенности, вернее, к ее отсутствию, когда каждый день жизни не оставляет в памяти и сердце свои заметы. Общие, на двоих. На троих-то не сподобились — бездетствовали. Сашеньку страшно угнетало, что неродиха она, не имеющая чадушки, донечки. Потому сестрице Аглае завидовала и к Нельке нашей дюже тянулась. Причем с малолетства. Придет, бывало, на колени к себе племянницу посадит и молвит: «Как дела, Неленька?» А та ей смешным баском: «Нормально... Все меня сегодня слушали и уважали...»

Признаюсь, я давно мучаюсь вопросом: что за нечаянный случай открыл мне Диалектова? Наверное, это — тайное тайных... И оно не будет узнано...

Я вот не терплю амикошонства. Фу, таким быть!

Диалектов же завсегда амикошонствует...

— Мне, Володей, именины сердца подавай... Так, кажется, у этого, у Пушкина, говорится...

— У Гоголя... — не удержавшись, поправил я свояка.

— А-а-а, все одно... Пушкин, Гоголь... Вот дитятя, дитятя — не одно... Не майский день... Разве с ним разживешься? Э-э, для себя, милушки...

— Что же Сашенька? Она-то иначе на это смотрит...

— Сашка? — не замечал, а может, и не хотел замечать моего стерегущего взгляда Диалектов. — Еще оягнится... успеет...

Но нет, не успела — недуг лишил ее в одночасье прав даже на саму себя. И врачи стали отговаривать: мол, принесете идиота. Побоялась Сашенька — материнством не усчастливилась. Годы ее каруселили. Неприметно голубели, синели, чернели. Уже к неполным ее тридцати весенкам сделалось заметным, как подурнела она. А ведь превосходила в девичестве красотой нежной и Аглаю, и других востроглазых. Не путем, кажется, искокетничавшихся.

Я часто с ней разговариваю.

Последний раз — в недавнем вчера.

— Ты не думай, Володенька, — мерцала она взглядом из сиреневой темноты, — мой-то не всегда был таким, запохожившим на бабу... Я-то помню его жуково-черным, осанисто-важным...

— Сашенька, милая, я ничего такого не думаю.

— Нет, нет, — колыхнулась она, — не о том я вовсе...

— Тогда о чем?

— Володенька, не обижайся... Я давно заприметила, что доброта твоя не распространяется на Андрона... Ведь я права?

— Может и права, не знаю.

— А я знаю... Знаю, что и причину имеешь на то...

— Да, имею... — согласился вдруг я, едва скрывая досаду. — Пока он над тобой измывается, изгаляется...

— Тише, тише... — испугалась Сашенька. — Меня вон и матушка-покойница увещевала: он же гуляка, он же непутевый... А я... Я даже... Я даже и не перечила... Я и сама про все это знала: и что гуляка, и что непутевый... А только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним мне будет любо. Ну, не хмурься, Володенька, вспомни, что всосалось в память о жене Сталкера... Тебе же дорог Сталкер... Дорог?.. Так вот, жена его

говорила, что и горя будет много, но только уж лучше горькое счастье, чем... серая унылая жизнь...

А еще она говорила, ворохнулось во мне воспоминание:

— Может быть, я все это потом придумала. А тогда он просто подошел ко мне и сказал: «Пойдем со мной», и я пошла...

Диалектова, взглянув на меня укоризненно, захоронила под веками свет зрачков и продолжала:

— И никогда потом не жалела. Никогда. И горя было много, и страшно было, и стыдно было. Но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. А если б не было в нашей жизни горя, то лучше б не было, хуже было бы. Потому что тогда и... счастья бы тоже не было, и не было бы надежды...

Вдруг Сашенька уронила голову на руки, плечи ее затряслись.

В комнате стала зреть нехорошая тишина.

А меня — совесть точить:

— Прости, не хотел... Поверь в доподлинность сказанного...

Спустя немного она подняла голову, отерла слезы под припухлыми веками и примолвила:

— Поверю... Я, конечно же, поверю, что у тебя и в мыслях не было меня разобидеть.

— Не было, Сашенька.

— Тогда вот тебе моя рука, Володенька.

Я коснулся ее белой, теплой детской руки.

— Открой окно, — попросила Диалектова, и голос ее дрогнул.

Я открыл.

Пахло крапивой и дождем.

С нахмуренного запада влеклись по небу черногрудые тучи. Сквозь черное морщились молнии. Больные и желтые.

— Ну, иди, а то еще дождиком прихватит... И да, прошу... не сердчай на Андрона... Не станешь?

— За-ради тебя только... Прощай!

— Прощай, единственный мой дружочек!

13 мая

«А человечешко-то воробейчикового масштаба — и не захочешь, осерчаешь... Даром что Андрей Андреич... Э-э, один глазок, по обыкновению своему, зажмурен, а другой устремлен на тебя с непонятной, многозначительной усмешкой. Мол, хочу и кудесю... Все подмывает сказать ему: „Эй, малый, да нешто лъзя так баловаться! Совершенно даже нельзя...“ Но разве поймет? Вчера опять вон довел Сашеньку до замученного крика...»

Срывается, значит, вчера звонок.

Я, почуяв недоброе, иду. Шагаю к Диалектовым так, чтобы «брюки трещали в шагу». Прихожу. И что мне открывается? Комната маленькая, чуть побольше картины, висящей над круглым столом. Сашенька ревмя ревет и желтее желтого. Андрон от недавнего ора побагровел — даже землистый цвет лица не скрывает этого. Волосы растрепаны, пытается наспех прибраться пятерней, но оставляет и, скрежеща зубами, насакивает:

— Чего надо?

— На тебя, безобразника, посмотреть, — нисколько не сбивает меня его неумелая смесь сильного с бесцветным. И вот такой нисколько не сбитый, я подхватываю Сашеньку под белы ручки и тихонечко выпроваживаю из комнатки.

- Посмотрел? — брызжет слюной Андрон.
- Да уж подивился! Впечатление такое, что во рту у тебя слишком много зубов...
- Учителишка ты задрипанный, сердцевед доморощенный... — бросает Диалектов мне слова «самые нецеремонные» и зачинает чудовищную божбу.
- Поди, не уймешься... — я гэпаю вдруг свояка по ребрам. — Фу, таким быть!

...Желая не «удалиться приличий», я все же удалился.

Так и глядел растерянно на свою взбесившуюся руку, на пластавшегося у моих ног Андрона. Глядел минуту, а быть может, иную. Только потом узрел картину над круглым столом, называвшуюся, кажется, «Притчей о слепых». И кажется, Питера Брейгеля Старшего... И тогда придавило-вспомнилось: «...они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».

Яма.

Осыпающаяся земля.

Злое и страшное лицо Диалектова.

И — промельк...

Кичливой власти и строптивой

Огромный истукан поправ...

— Ты где такой ухватке научился? — Диалектов облизал толстым, пупыристым языком пересохшие губы. — Ведь мог и селезенку порвать... Я бы испустил дух, попросту говоря — умер...

— Не о том думаешь.

— О чем же мне думать, если внутри все трепыхается? — Андрон кое-как привстал на колени, потом ухватился за стол и утвердился на ноги.

— Не о чем, а о ком... Думай вон о Сашеньке... И повторяй: «Не буду «поселять в семействе раздор...» Ну же!

— Опять намахиваешься? — отшатнулся Диалектов. — Я, я... напишу, куда следует. Я пожалуюсь...

— Напиши, а заодно и протелеграфь. Шли ворохи того и другого... Но сейчас... Сейчас, безобразник, лучше уж повторяй!

— Ладно, ладно тебе... — заторопился Андрон, держась за ребра. — Э-э, не буду поселять... Этот, как его... раздор...

— А теперь вникни, — наморщил лоб я, — сегодня четверг... Так?.. В понедельник же, то бишь семнадцатого, ты везешь Сашеньку к доктору, к особенному доктору... Я буду тебе споспешествовать...

— Может, повременить, а? Может...

— Никаких «повременить»... Не окоченевшего ума это дело... Ты меня отлично хорошо понял?

Андрон кивнул утвердительно.

— И я не должен ни о чем беспокоиться?

— Да, не беспокойся ни о чем.

И тогда, насвистывая беспечно, я запел...

Знакомой стороною

Лошадка путь кладет,

Покорно предо мною

Костлявый зад трясет...

16 мая

Долог путь, да изъездчив. А потому исстари повелось остерегаться темных сил и помалкивать перед дорогой. На вопрос «Куда собираетесь?» следовало ответить: «На кудыкину гору». Отсюда и глагол «кудыкать» — говорить пустое, глупое, зря человека тревожить. А еще в иных диалектах «куд» — это такой бес, который водит, морочит. У нас этим, к слову, и поныне промышляет Аделаида — старшая из сестриц. Старшая-то она старшая, а только черт знает что воспоследовало. Видите ли, я не предупредил ее о Сашеньке, о Волгограде, о докторе, обо всем. Все в кучу свалила. Но я не стал коченеть перед бонной. «Эти бонны кроткие — сволочи ужасные! Хуже чем чума!» В общем, я внемлил, внемлил да присоветовал:

— Поди, Аделаида, вон!

— Как выскочу, как выпрыгну, — загрозила она, — пойдут клочки по закоулочкам!

— Иду на пятах, несу косу на плечах, хочу Аделаиду посечи... Поди вон!

И она, исподлобья желтым глазом в меня целя, возвратила:

— Налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — жизнь потеряешь, прямо пойдешь — жив будешь, да себя позабудешь...

— Что забудется, — не законфузился нисколько я, — то не сбудется...

И тут мелькнуло-вспомнилось: «Эта прямая, тяжелая и медленная душа готова была на всякую крайность...»

Впрочем, вру.

Но отчего ж не врать? Знамо дело: «Соврать по-своему — ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица!»

Вот-вот, старшая сестрица Сашеньки «только что птица» и есть. Учености она небольшой и аллегориями не изъясняется. Но хоть кого поучит близким целям низкой жизни. И к тому же подходявый принцип имеет: «Отдай ты мне все, да и мало...» А еще — и жест подходявый тож... Всякий раз, выбираясь в свет, облачается в новое платье, все больше черное и непозволительное своим декольте. А сама, сама румяная — того и гляди, сок брызнет. При этом желтые глаза ее, в сравнении с младенческими, чистыми глазами Сашеньки, глядят нехорошо, а по мне — так и дурно.

Ну а супруг ее? Каков, право?

Супруг ее, Архалуков (я-то подозреваю, что он все же Ахалуков), как бы это мягче выразить... А собственно, давно и выражено: «Один там только и есть порядочный человек — прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья...» Да, да, он и впрямь... прокурор... Ребяче-стариковский, но прокурор. Вот уж достался Петрову Валу (читай всему уезду)! Фу, таким быть! Одни клянут, другие поклоны бьют. Подобострастия, впрочем, больше. «Ко всему-то подлец человек привыкает!» А он, Архалуков, знай себе на воздухах парит. В присутствии, всюду. Но скажу так: за начальственным пальцем следит, на вековечные вопросы не съезжает и почтительно-выжидающую паузу берет. И потому только — очевидность кричит! — всяко благодетельствован...

И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равненье.
Где-то

будто
вручены
чуть ли не —
бразды правленья.

Признаюсь, и этого моего свояка обругать порой подмывает. И тогда, в такие минуты повреждения в уме, я себя не удерживаю. Становлюсь как Свидригайлов. А почему? А потому, что «на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь...» Я вот оправдываю... По обычаю моему... И да, не постигаю, как это «мы одно, за одно живем...» С кем? С Архалуковым? А может, с Диалектовым?

Эх, и надоели же эти Щелканы Дудентьевичи!

Я бы утерся — и поклон поясной. Но ведь и сей бисер затопчут. А главное, главное — Сашеньку совсем заедят. Разлакомятся. Только и будет слышать: «Русским духом пахнет!»

Что делать, ума не приложу... За тридевять земель, в тридесятое царство еду, так и это им не под нос. Вскинулись: «Зачем ее вчуже тянешь, анахорет?» Ответствую: «Я, бессольные, не анахорет... Сашенька же больна, сами видите...» Морщатся: «Огласка нам ни к чему... И дома поличим, поцелим... тихой сапой...» А потому и вчера, и сегодня — «дай и подай огонь в руки!» Побранились так побранились! Андрон, Аделаида, Архалуков и Аглая — вот от кого не ждал! — ощерились. Впрочем, потом все же сладились. Завтра — в дорогу.

Сбираюсь, но жду поползновений от верещавых. И ведь дождался-таки. Когда солнце землю уже клонуло, о себе вдруг Сашенька дала знать:

— Володенька, — забруило в телефонной трубке, — они у меня карточку банковскую и паспорт подтибрили... Говорят, чтоб не усадила...

— Кто? Андрон? Аделаида?.. Ну, не плачь же...

— Да, и Глаша.

— Так, значит...

Я помолчал и, тронув разболевшийся висок, сказал:

— Не кручинься, Сашенька, без денег не останешься... На будущее время я обещаю тебе мою помощь... Ну а паспорт твой, — продолжал я, улынувшись, — пусть Андрон таскает... Все ж какая-то польза...

— Благодарствую, Володенька! Укрепил ты меня, единственный мой дружок!

— Утро вечера мудренее, ложись-ка ты, Сашенька, почивать...

— Будешь-то раненько?

— Раненько, не заботься... С возилкой уж сговорился.

— Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!

17 мая

Полонен сном...

Именно, именно взят в полон...

Сном... во сне...

То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,

Без времени, без дней и лет,
 Без промысла, без благ и бед,
 Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
 Как океан без берегов,
 Задавленный тяжелой мглой,
 Недвижный, темный и немой...

Как случилось... Как же случилось, что меня полонили?

А впрочем, чему удивиться... Если такой могущественный человек, как Юлий Цезарь, был зацепан пиратами около острова Фармакуссы, сидел в плену почти сорок дней и был выкуплен за пятьдесят талантов, то что говорить обо мне. Только откуда у меня-то пятьдесят талантов? Знамо дело, ниоткуда. Сам себя я не выкуплю, а больше и некому. Тогда бежать? Бежать. Ведь я не кол, вбитый в землю.

Но сперва вопрос разрешу.

Как бежать? В эпосе, например, «выезд богатыря, а перед этим седлание коня, бой и перипетии боя — все дается ступенчато». То бишь дается план. Подходит, что ли? О, вполне! А значит, к побегу!

И тогда заговорил во мне летописец: «Ты правдою бе оболчен, крепостью препоясан и милостынею яко гривною, утварью златою украсяся, истиною обит, смыслом венчан...» И еще припомнилось: «Ты бе, о честная главо, нагим одеяние, ты бе алчущим корьмля и жажущим во въртьпе оглашение, вдовицам помощник и страньным покоище, беспокровным покров, обидимым заступник, убогим обогатение, страньн приимник...»

Замечу, все эти предуготовления — и выработка плана, и осмысление летописи — дали плоды.

Побег увенчался и был кратким, как легенда.

«Теперь... А что теперь? — выяснилось само собою. — Куда я направляюсь „тихими стопами вместе“? Кто меня ждет? Ведь никто не ждет... В стародавние времена, по обычаю, как пропавшему без вести мне бы воздвигли гробницу... Кенотафию... И неважно, что моего трупа в ней не оказалось бы...»

И вдруг пронзило: «Как это верно! А я ошибался... Разве ж виноват я в ошибках творения?»

Я поднял голову, хотя мне было это и тяжело...

Небо смеялось.

А потом поникло, посерело.

Замелькали зверьки — тени облаков.

...Стоило сбегать из сна, и меня придавила стрела часов.

Ничего не оставалось, как приковать себя к своему же кораблю и плыть в новый день... Навстречу к «будущему, которое любишь».

И я — поплыл.

А когда наконец огляделся, то увидел избитые берега дня.

Был вечер. Небо меркло. Воды
 Струились тихо. Жук жужжал...

А по-моему, сирены заманивали... Как Одиссея... Еще чуть-чуть, и заткнутый в уши воск не спас бы... Однако что ж это я? Не обо мне речь... о Сашеньке... Слава богу, что не зря съездила... Особенный доктор вник во все перипетии. Все обстоятельно обспросил и уже этим одним унял Сашенькины страхи. В стационар, впрочем, не по-

местил, а назначил уколы и порошки... Андрону же добрый доктор запретил перетягивать (это его словцо «перетягивать») нервы у больной. «И тогда Александра Терентьевна пренебреженно поправится...»

Право, я желаю этого! Желаю...

Потому Аглае, по которой соскучился до форменных кошмаров, и спешил рассказать. Вот только рассказать, поделиться с ней радостью не пришлось.

Дома на столе сиротела записка.

Я узнал руку жены.

Владимир!

Я люблю другого. И эта любовь придает какую-то безумную ценность моей жизни...

Не ищи меня, не мучь, не тревожь. Взгляни на это как на искупление.

Что же касается Нельки, то пусть живет у моей мамы — не противься, девочка сама так захотела...

Я не искал, не мучил, не тревожил... Не противился...

Я даже не запил... А ведь русская горькая могла бы, что называется, заступиться и за меня.

Я лишь завыл... Завыл, как собака...

26 мая

Как странно... Девять дней минуло...

А может, девять лет или веков?

А впрочем, все равно... Теперь я гляжу на *это* как на искупление. И даже напал случайно (коли случайное, конечно, случается) на воспоминания Розанова о том, почему Аполлиария Суслова оставила Достоевского. Через семнадцать лет после этого разрыва и за год до смерти Достоевского Василий Васильевич Розанов женился на Аполлиарии Сусловой. Впоследствии он воспроизвел свой разговор с ней:

— Почему же вы разошлись?..

— Потому что он не хотел развестись со своей женой, чахоточной, «так как она умирает».

— Так ведь она умирала?

— Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я его разлюбила.

— Почему «разлюбила»?

— Потому что он не хотел развестись.

Молчу.

— Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...

Признаюсь, представил мойр со своими веретенами. И вот почему. После шести лет брака Аполлиария кинула и Розанова. Уехала, влюбившись в молодого еврея. На письма Василия Васильевича она отвечала со свойственной ей жестокостью: «...тысячи мужей находятся в вашем положении (т. е. оставлены женами) и не воют — люди не собаки».

На мойровские веретена намотаны и мои девять дней...

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила — и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить...

Хорошо бы собаку купить.

Бунин, Бунин...

Какой изящный разрыв!

У Достоевского же, напротив, ничего изящного — только старые заросшие воспоминания.

Измучившей его своей горькой любовью нигилистке и бесталанной писательнице Аполлинии Сусловой, с которой осенью 1863 года путешествовал по Италии, он предлагал оставаться «как брат с сестрой». И даже два года спустя после этого путешествия признавался: «Я люблю ее еще до сих пор, но я уже не хотел бы любить ее».

Не сразу, не вдруг, но я выделил это все из действительной мысли и примыслил к Аглае, которую «уже не хотел бы любить». Да, в эти девять дней я многое передумал... О том, что надежда моя на Аглаю не могла более утверждаться... И что я вовсе не «рыцарь, сжаривший прекрасного сокола на закуску любимой». А еще меня гложил мысль о других шести женщинах «с именами тех, в которых я был когда-то влюблен и забыл не прочно». С Аглаей же их было семь... А впрочем, что говорить, я никогда не стоял на незыблемой почве... Ведь прежде чем бросить богатого жениха и выйти замуж за меня, Аглая колебалась. Но тогда, замороженная тем, как я, «мир огробишь мощью голоса, иду — красивый, двадцатидвухлетний», она все же решилась. Как, собственно, и сейчас решилась на одно из чудных начинаний: ушла к своему прежнему жениху, к «помещику и раскапиталисту» Плахоте.

Вот говорят (забывая перестать), что все к лучшему. Да к какому такому лучшему? Не постигаю... Ведь Плахота, плохо... к плохому... Словом, к горю.

У меня горе неразмычное.

И я не знаю, как с ним справиться.

Быть может, следует повести себя, как герой Стерна? Уж он-то справился со своим горем иначе: «...совсем не так, как большинство людей древнего или нового времени; он его не выплакал, как евреи и римляне, — не заглушил сном, как лопари, — не повесил, как англичане, и не утопил, как немцы, — он его не проклял, не послал к черту, не предал отлучению, не переложил в стихи и не высвистел на мотив Лиллибуллиро... Тем не менее он от него избавился».

Завидую!

И всего чаще спрашиваю: собачий вой — что он такое? О, это черта, придающая мне правдоподобия и уподобляющаяся плачу Ахиллеса...

Герой, в ком мелко все, лишь для романа годен.
Пусть будет он у вас отважен, благороден,
Но все ж без слабостей он никому не мил.
Нам дорог вспльчивый, стремительный Ахилл;
Он плачет от обид — нелишняя подробность,
Чтоб мы поверили в его правдоподобность...

Нервы поют, а смеюсь. Хохочу над собой.

Паразитальная Раскольниковская живучесть! О нет, нет, старушонка я, конечно, топором бы не лущил. Но вот шельмой мог бы со временем быть... «Большой шельмой... когда вздор повыскачет...»

Аглая же ко мне не вернется, сочтет подлецом.

Я предупредил следственные органы о произволе компании «Анкор», подвизавшейся перестроить школьный спортзал, но довольствовавшейся лишь разором казны. Компания эта принадлежит Плахоте, Глашину полюбивнику. Ну кто я, как не подлец и мстительная душонка? Фу, таким быть! А раз так, то Глаше и дела нет до того, что, директорствуя, не мог обойти я стороной... этот «Анкор»... А ведь он действи-

тельно умыкнул миллионы у Фонда перспективного развития. И они, миллионы эти, как раз для петровальской школы приуговлялись. Следователи, видимо, совсем не совестясь, пришли к делу одного анкоровского бухгалтера Тонкошкурова. На допросы тягают. Да разве Тонкошуров для себя казнокрадствовал? Но обличат, докажут. Уже обличают и доказывают. Господин же Плахота сидит в своем высоком терему и, естественно (читай — противоестественно, поскольку против естества), ни при чем. А Илья Дмитриевич Тонкошуров, судя по всему, переселится в казенный дом. Только вот у Ильи Дмитриевича жена с полгода как померла, да и сын шибко хворый — сказывают, порок сердца. Не жилец он, Илюша. Голубоглазый, лобастый мальчик. Несчастный мой ученик.

А я, ну а я буду «в положении человека, который, пытаюсь сесть на лошадь, через нее перепрыгнул».

Так и будет — Аглая никогда не вернется...

6 июня

Никогда не возвращался к тому, что...

Я люблю смотреть, как умирают дети.

И вот — возвращаюсь...

Маяковский однажды скажет: «Надо знать, почему написано, когда написано и для кого написано... Неужели вы думаете, что это правда?»

— Конечно, неправда, — с жаром отвечаю я. — И конечно, не думаю объяснять это стихотворение футуристическим вывертом или душевной болезнью. Вы, Владимир Владимирович, никого не эпатировали и уж тем более не были больны. По крайней мере, тогда, в 1913-м, не были... Кажется, одна только ваша Лиля и выскажет верную мысль: «Это стихотворение написано не от собственного лица и даже не от лица прежнего лирического героя, а от имени Бога...»

Право, странный какой-то Бог. Немощный, что ли? А впрочем, не стоит плохо думать о Маяковском, придумавшим такого Бога. Есть в этом кое-что, есть. Не было бы, Александр Гольдштейн не посвятил бы знаменитой первой строчке отдельный абзац.

Я не поленился — нашел:

Величайшая заслуга Вл. М., что он записал эту строку, которая, поворачиваясь, как нож в ране, сдвигает священный архетип русской литературы, столько других культур — архетип умирающего дитяти, ребенка-страдальца. Постоянно изображая его смерть, старая культура тоже очень любила смотреть, как умирают дети: смертями невинных детей переполнено мировое искусство, а прошлое столетие сделало из этой темы свой фирменный специалитет — Диккенс, всевозможные сентиментальные народолюбцы-идеологи, замороженные трупы-гробики у передвижников...

И снова, как тот самый пресловутый нож в ране...

Я люблю смотреть, как умирают дети.

Нет, нет, человеку надобного другого Бога.
Потому что...

И надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку...

Я бы точно припал к этой руке.

Но я просил бы не о себе — я-то человек поконченный. Я просил бы о мальчике... об Илюше... Я уж точно пред ним виноват. На душе потому и тоска стоит, будто позорный столб...

И вдруг выяснилось-вспомнилось: «Будь у меня собака, такая назойливая, как совесть, я бы ее отравил...»

Да, отравил бы.

А как иначе?

Илья Дмитриевич Тонкошкуров доверил мне, мне, виновнику его несчастий, заботу о сыне. Илья Дмитриевич сам привез ко мне мальчика и объяснил, какие давать лекарства. Было это вчера утром, где-то за час до ареста. Бухгалтер «Анкора» словно предчувствовал надвигающуюся беду. Я же твердо обещал, что Илюша не попадет в интернат — потому и начал хлопотать об опеке истово. А больше ведь некому: кроме Ильи Дмитриевича, у Илюши ни кровинки родной. Когда сгрябчили Тонкошкурова-старшего, это ощутилось особенно остро. И будто душа умерла для всего остального на свете. Впрочем, вскоре мне сделалось и того хуже.

«Виновен ли папа?» — прочитал я в глазах девятилетнего ребенка и не успокоил: «Нет, Илюша, он ни при чем... Обвинения облыжны...»

О, какой же я идиот! Фу, таким быть!

Единственное, что я сделал неидиотское, так это позвонил Сашеньке Диалектовой и попросил прийти вечером. И она пришла, ведь «в тот день тоже настал вечер».

— Я вас пирогами попотчую, — проворковала Сашенька. — Ну-ка что у вас там, в холодильнике? Наверное, и нет ничего?

Кое-что все же нашлось.

Сашенька поддумянила один пирог с капустой и мясом, а другой — с яблоками и клубничным джемом. Получилось недурно! Пока мы вечеряли, наша гостя смешно рассказывала о своем Андроне, ни с того ни с сего заделавшимся директором скотобойни (до этого же момента он совсем не тужил в администрации Петрова Вала — жлоболатории, как я ее величал). А вот о Тонкошкурове-старшем не прозвучало ни словечка — ну не хотелось нам растравливать Илюшу... Мальчик немного забылся, отвлекся. Сашенька ему, кажется, понравилась. Напоследок она премило улыбнулась и вымолвила, что «в следующий раз мы съедим еще больше пирогов». И мне почему-то вспомнилось сакраментальное: «От пирогов не толстеют!.. Привет, Малыш!»

А потом, ближе к полуночи, Малышу поплохело.

Сон бежал от моих глаз — я вызвал «скорую». Приехала скоро. Привезла Неизвестного. «Совсем юнец, — мелькнуло вдруг, — верно, по распределению к нам...» Иван Иваныч Неизвестный, озабоченно почесав свою лысую с шишками голову, снял кардиограмму, сделал укол. Сложил барахлишко в чемоданчик и уехал — ни дать ни взять сам доктор Айболит, спешащий всех излечить и исцелить.

Помню, меня самого будто укололо: «А ведь сегодня пушкинский день...»

Только вот я и думать забыл о Пушкине.

Такое со мною впервые.

9 июня

Вчера и позавчера вновь вызывал Айболита. Сегодня отвез Малыша к нему, в лечебницу.

16 июня

Я нужен Малышу — он умирает, «уходит молча под зеленую траву». Он уже не наследит после себя на свете. Я сожалею, но не могу ничего изменить. Зачем такое слово из старого камня — «сожалею»? Не знаю. Только вот Малыша жаль мне до рыданий.

Плахота и ему подобные фокстротирующие господа живут хорошо, «винно, блинно и оладисто». Платонов называл таких яростно живущими. Малыш, напротив, не живет, а доживает и должен бесследно исчезнуть. Какая несправедливость! Остается утешаться лишь тем, что само бесследное исчезновение бывает условным. Платонов так и полагал, что «однажды умершее впоследствии становится бессмертным или яростно живущее оказывается мнимым и ничтожным».

22 июня

«В следующий раз мы съедим еще больше пирогов...» Нет, нет и нет... Потому как следующего раза не будет... Не будет для Малыша — он условно исчез. Вчера, после полудня.

5 июля

«Целомудренный визг ни к чему, — сказал после Илюшиных похорон, в крайнюю нашу встречу, Илья Дмитриевич Тонкошкуров. — Знайте, я вас ни в чем не виню...»

Выглядел Тонкошкуров-старший поганно (пообносился в заключении), но изволил шутить: «Как вам мой костюмчик? Хорошо сидит? А по-моему, проще надо. Не такое оперение нужно...»

Глаза Ильи Дмитриевича — такие же голубые, как и у исчезнувшего Илюши — вдруг потемнели: «Владимир Николаевич, я боюсь... проглотить пулю или навряде того... А впрочем, чего мне бояться теперь. Теперь, в канун самоубийства. Да, то, что я над собою сотворил, — самоубийство. Но в память о моем мальчике я должен что-то изменить... Помогите же подать апелляцию... Скорбно прошу!»

Конечно, я обещал содействовать. А еще предложил половину моего выходного пособия (благодаря «смычке разных гибельных обстоятельств» я уволился из школы), и Тонкошкуров не отказался принять это вспоможение. Уже вскоре Илью Дмитриевича этапировали в колонию, и я засобирался в дорогу. Остаться в Петровом Вале — в городе, живущем стариковской жизнью (злбно шикающем, шепчущемся), — я не мог.

Атанде! Важно все-таки (хотя бы самому себе) разъяснить. Уезжал я не оттого, что боялся: «Пусть только тронут — зубы выбью и штаны заставлю испортить...» Нет, тут другое. Тут прямо по Платонову: «Мое отчаяние в жизни имеет прочные, а не временные причины. Есть в жизни живущие и есть обреченные. Я обреченный».

И действительно, я воспринял от Аглаи правду о своем неотцовстве как обреченный.

— Нелька не твоя дочь, — убила Аглая, — я лишь догадывалась, но тест — не фантастическая литература... Тест открыл мне, что отец Нельки именно Леонид... Леонид Григорьевич Плахота... Ну что ты молчишь?

— Меня нет — есть ты, — кое-как выдавил я. — А Нельку, Нельку я не разлюблю. Это — все. Ключи оставляю у соседей... Квартира навечно твоя — документы я переделал, возьмешь в буфете...

Хотел было еще прибавить «до свидания, горячая и трудная моя», но прибавка словно окостенела и застряла в горле.

Семейные признания и фамильярные беседы закончились, оставалось лишь проститься с Сашенькой. Пока ее дожидался, напал в книжке (и есть зачем, только я не знаю) на такое:

Как тоскует верба в поле!
Ветер не гудит!
Сердцу человека больно —
Человек не говорит.

Тьма, и дождь, и бесконечность,
И не видно ни звезды.
Тихо мрут над гробом свечи,
Мертвый жизни не простит.

Он лежит замолкший, тайный
И смертельней мертвеца,
Он проснется завтра рано,
Догорит к утру свеча.

Нежен взор его туманный,
И под горлом теплота,
Веки дрогнули нечаянно,
Тише жизни красота.

Я отложил книжку и крепко задумался: «Откуда ей, Красоте, взяться?.. Как это там? Э-э, „оттого я никогда не встретил Красоты, что ее отдельной, самой по себе — нет“. И, наверное, быть не может...»

— Спишь или шарлатанишь? — отвлекла меня от живых мучений Сашенька Дialeктова, и тотчас же полегчало, хотя было горько и смех — кривой.

Теперь, сейчас, Сашенька была как недостижимое утешение, — мы обнялись, и я сказал:

— Жду твоих писем, желаю тебе здоровья и жму твою тонкую руку... Прощай!
Сашенька заплакала.

— Тебе не стыдно, бабий вождь? — попытался утешить я, тронутый такой тоской и жалобностью.

— Стыдно, Володенька... Но ты, ты... как воздух для моего «душевного дыхания» — уедешь, и мне нечем будет дышать...

Уже когда я оказался наедине с собой, я будто бы услышал: «И ты все злеешь и злеешь... судьбины гнев...» А потом повлеклось-вспомнилось: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов*? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»

Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Петров Вал. «Сашенька, — подумалось тогда, — ничего ведь не решено... Окончание — в жизни... И пусть ради тебя „звонят звезды и луна будет новым солнцем“. Прощай, единственный мой дружок... Прощай!»

«Клоп»

7 августа

Когда караван поворачивает обратно, хромые верблюды оказываются впереди. Вот и я сообразно поговорке — впереди. Только уж очень это антиподно! А впрочем, все равно... Я, новоиспеченный учитель литературы, сегодня, после педсовета, имел доверительный разговор (почти что беседу) с нашим завучем... Галина Петровна Спивакова — «одно ты у меня достояние и православная вера» — прочит меня в классные руководители. Все решится уже завтра. Спиною чувствую.

8 августа

Странно, что мадам Спивакову почитают за хрупкую женщину. По мне, так она долгая и прочная... А временами — краснощекая... И кстати — близорукая. Оттого и очки в черепаховой оправе.

Теперь плюсы. В детско-синих глазах ее меланхолично проглядывает интерес ко мне. Пусть так! Но я не хочу жать ее всю. Не желаю, как говорится, увенчивать собою чьи-нибудь вечерние годы. Смешно, коли вдуматься! Какие «вечерние годы»? Против моих тридцати пяти августов Спивакова может противопоставить лишь тридцать три своих июля... Может, но...

Пусть не помнят юные
О согбенной старости.
Пусть не помнят старые
О блаженной юности...

Большое вероятно, что 16-го, разрезав именинный пирог, я уже не почувствую себя чистым и бессмысленным, как небо. К слову сказать, августовское небо этих дней — идеальное, без примеси другой краски. О, я люблю именно такое!

Но чихать и плевать на мои любви!

Снова встает нерешенный вопрос: занимать нынешнюю комнату я не могу: и до школы неблизко, и от квартирной хозяйки (вертлявой и досужей бабенки) я порядочно устал. Значит — переезд? Я — за него! Переплывать океаны трудностей, к счастью, не придется. Сегодня узрел объявление: «Сдается квартира в пятиэтажном доме...» Я знаю этот дом из красного замшелого кирпича. Двор там глух, темен и зарос деревьями. Всюду зеленеют черные листья. Под ногами же мягкая трава, словно взволнованная ветром... Право, не дом, а богадельня. Вот так и буду звать — бо-га-дэль-ня... Чтобы жить и Бога делать...

И я должен, должен... Жить, делать... Ведь у меня теперь класс...

Мой девятый «в».

Что тут скажешь, когда уже сказано: «Отец сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Лука Брази держал пистолет у его виска, и отец предложил выбор: либо на контракте мозги, либо подпись...»

Я предпочел подпись.

Спивакову, что естественно, это устроило.

12 августа

Нет, я не читаю мысли...

И все же с хрустальной ясностью сознаю: у собеседника прорастает впечатление, что я беспрестанно думаю о предмете разговора. Да-да, углядел за собой: имею обыкновение при встрече всегда возвращаться к прерванному разговору.

Вот и Спивакова не далее как вчера углядела, когда я невзначай бросил про гангстера Луку Брази с пистолетом у виска...

— Странно же вы общаетесь! — проговорила, словно поставила это мне на вид, наш завуч.

— Да нормально... Я называю сие — поэтикой «возвращения»...

— Значит, поэтикой?

— Ага...

— Владимир Николаевич, вот вы по-всегдашнему ироничны... Скажите: только со мной?

— Досточтимая Галина Петровна, в чем вы усмотрели иронию? Обычно если она и есть, то в едва уловимой форме...

— Не понимаю, — перебила меня Спивакова, — зачем вы пришли к нам? Кандидат наук... Могли бы профессорствовать в вузе...

— У меня есть почти неуместный ответ на этот вопрос: так лучше для общества...

— Даже так?.. А ничего, что «общество интересуется совсем не тем, что интересовало его несколько столетий тому назад»? И это не я, это еще Писарев вопрошал... — Спивакова запнулась, покраснелась, как гимназистка младших классов, и, только сделав приличное усилие над собою, договорила: — Ученики воспринимают неохотно, забывают немедленно и выносят с собою в жизнь вместо полезных знаний отвращение к умственному труду... Очень жаль, но счастливые времена Абеяра все-таки остаются невозвратимыми...

И тут она угодила под мой взгляд-гильотину.

— Вы так верите? — врезал я, будто по живому. — Прискорбно... А вот я верю, что «из подростков созидаются поколения», — произнеся это весьма патетически, я, по обыкновению своему, распался. — В школе они, подростки, могут, конечно же, ошибаться... Жизнь... Э-э, когда ее устраивают впустую, ошибок не прощает... А вот школа, школа должна — из этой истины, как говорится, не существует выхода...

— Ваша кандидатская, — неожиданно переменяла философское течение нашего весьма странного диспута Спивакова, — она, позвольте, угадаю, по педагогике?

— Нет, ну что вы... Совсем уж холодно... Я занимался драматургией Платонова... Рассматривал такие его пьесы, как «Голос отца», «Волшебное существо», «Ученик лица», «Ноев ковчег (Каиново отродье)»... Знаете ли, обращение к фольклору, Библии и — шире — к литературе и позволило прочесть тайнописный слой рассматриваемых пьес, наметить художественно-философскую эволюцию Платонова-драматурга... Все, все его творчество — это единый метатекст... Да-да, и проза, и публицистика, и записные книжки, и письма...

— Владимир Николаевич, вы так в этом разбираетесь... Но отчего вы не в науке?

Я даже усмехнулся:

— Как водится, помешала любовь и... прочие неприятности...

— Вы, вы потеряли ребенка, — начала вдруг Спивакова, сбилась и не сразу договорила: — Мне так жаль...

И действительно — это чувствовалось — ей было жаль. Но мне, мне, придавленному воспоминанием о «вытерпевшем смерть» Илюше, пришлось ответить аскетическим молчаливством. Поэт, несомненно, ответил бы иначе...

Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброго слезой благословить...

- Ведь потеряли? — чугуно поставила вопрос Спивакова.
И я, как бы освобождаясь от непосильной тяжести, бросил:
— Все было не так, как вы думаете... Но жизнь, впрочем, затомило... Гм, недоста-
вало только вашего пистолета у моего виска...
— Признаюсь, — вздрогнула и повела плечами Спивакова, — ассоциация с этой
образиной Лукой Брази меня поначалу коробила... А теперь ничего, обвыклась... Вот
что я вам скажу: зовите меня Галиной... Спокойно так зовите...
Она выставила ладонь и приветливо улыбнулась:
— Давайте-ка... За нас... За мафию!
— Ага... — поддержал я шутку и неуклюже ударил ладонью о ее ладонь. — Мафия
бессмертна...
— Вы поэтому носите такую шляпу? — сжевала улыбку Спивакова.
— Галина Петровна...
— Галина... — настойчиво выговорила она.
— Так вот, Галина, шляпу лучше не носить вовсе... — парировал я. — Чтобы, как
говорится, ни перед кем ее не снимать. Но для вас пожалуйста... Э-э, в виде исключе-
ния, разумеется...
— О, благодарю!
— Нет-нет, не произносите сие нужнейшее из всех слов! — с нескрываемой ирони-
ей сказал я, снимая черную фетровую, с широкими полями шляпу. — Священнобез-
молвствуйте... И — точка.

16 августа

Описание дня рождения Маяковского с моим днем рождения совпадает до ощущения...

В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.
Был абсолютно как все —
до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам.

Итак, сегодня день моего сошествия...
Преподнес сам себе подарок — переехал в квартиру из объявления.
Теперь обживаться, обживаться и обживаться.
Надеюсь, жизнь замельтешит, как в той пьесе: «...карусели, фруктовая вода, на ба-
янах заиграют, девки придут и лодыри с ними — на отдых...»
А впрочем, до отдыха ли?
Вот-вот пойдут хвостать учебные дни!
Уже завтра встречаюсь с моими тетками и дядьками. Ну а как их еще назовешь?
В пятнадцать лет они все — «прямые канцлеры в отставке — по уму».
Будет любопытственно!

17 августа

Вышло ожидаемо...
Тетки и дядьки мои зашумели, как те, кто говорят на непонятных языках.

Вызначилось-вспомнилось: «Аналогичный случай когда-то произошел при построении одного высокого здания в Вавилоне...»

А ведь я всего лишь спросил о прочитанной за лето литературе. Только двое из класса — Эмма Вилкас и Алеша Гореликов — поведали мне (оттого и запомнились их имена) что-то вразумительное.

И тогда я повел себя как турок, «занявший город и оповещающий об этом под барабан».

— Ребятунки, пора уже к делу приурочиться! Даю два с половиной месяца на прочтение... нет, не абевег, а книг Василия Яна, Жюль Верна, Артура Конан Дойла, Акутагавы, Брэдбери, Стивенсона, Сэлинджера, Воннегута... И, конечно же, Габриэля Гарсиа Маркеса, нареченного индейцами племени вайуу Великим сказителем... То есть тех многих прочих, кого в школьную программу отродясь не включали... А еще вы должны увидеть экранизации их романов, повестей и рассказов. Вникните, начинать сегодня! Вопросы есть? Вопросов нет. Встречаемся первого, на линейке...

Не сомневаюсь, тетки и дядьки мои отравились ненавистью ко мне.

Понимаю их чувства, но...

«Нужно безумствовать — или смириться!»

23 августа

Отметил наметни платье Спиваковой — такое живое по цвету.

Она же отметила мою методу. Возьму, пожалуй, «отметила» в кавычки.

— Владимир Николаевич, мне поступают сигналы... От ваших, кстати, родителей... Что там у вас за метода? Какой-то странный список литературы дали к прочтению...

— Всё потрясено, все потрясены... Все гибнут, всё гибнет...

— Я бы на вашем месте не иронизировала... Родители возмущаются...

— А чем конкретно, позвольте узнать? Не тем ли, что их дорогие чада за все лето не взяли в руки ни книжки? Исключение лишь Вилкас и Гореликов... Так вот, Галина Петровна, родители занимаются «вращением бушующих пустыков». А заниматься нужно иным...

— Да-да, Владимир Николаевич, я вас поняла... Так им и передам...

— Не утруждайте себя... Я и сам передам. Э-э, на ближайшем сходбище, которое, кстати, на двадцать шестое и назначено. Надо же нам с родителями обняться душами? Сойтись, что называется, ближе?

— Ну, не знаю... Не знаю...

— К чему сомнения, Галина Петровна? Гоните их прочь!..

Я залюбовался ее обнаженными загорелыми плечами и присовокупил:

— Такое платье, как у вас, должно придавать только уверенность...

— Вы полагаете? — обрадовалась Спивакова, словно говоря:

Я пришла к поэту в гости.

Ровно полдень. Воскресенье...

— Абсолютно! — выпел я голосом, похожим на звук иерихонской трубы, и мысленно прибавил:

Этот смуглый пасиянец.

Золотой загар плеча.

26 августа

Родители беспокоятся.

«...Аль остатное время настало?..»

Розанов беспокоился — это я понимаю... «Вот — Апокалипсис... Таинственная книга, от которой обжигается язык, когда читаешь ее, не умеет сердце дышать... умирает весь состав человеческий, умирает и вновь воскресает...»

Ничего не выйдет у родителей! Хоть бы головы они себе откусили... Впрочем, это лишь фигура речи!

Теперь что касается моей метóды: я, конечно же, не отрекись от нее — буду преподавать литературу по-соколовски!

Необходимое уточнение: это вовсе не репетиция будущей моей речи, это примерно то, что я вдохновенно поведал дражайшим родителям на первом же нашем сходбище.

28 августа

Воскресительное время — семь часов.

Гляжу в утренний мир и думаю: «Ничего не отвлекает от моей души... Было бы так вечно!»

29 августа

Пространщиком (то есть — «пространным») прозвал я своего молодого соседа — Веню Свистельского. Большегубого и голубоглазого вьюношу. Я наблюдаю за ним с того самого момента, как переселился в свою нынешнюю квартиру из объявления. И кажется, то, что я наблюдаю, можно назвать трагедией. Не едва-едва, а самой подлинной!

И благо бы двадцатичетырехлетний Веня влюбился бы, вздыхая и надеясь, по-пушкински...

Я знаю: жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Но он, Веня, влюбился безнадежно и по-маяковски...

Стоит там дом,
он весь в окошках,
он Пятницкой направо от,
И гадость там на курьих ножках
живет
и писем мне не шлет.

Так вот, «гадость на курьих ножках» — накрашенная и рыжая Лилечка — и впрямь живет в соседнем подъезде. Я на такую сроду бы не взглянул, если бы не Свистельский. И тем более не попросил бы:

Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты.

А в общем — взглянул.

— Какая тонконожка! — вырвалось у меня само собой и, конечно же, нехорошо коснулось обнажившегося сердца Вени. — Простите, Вениамин! — спохватился вдруг я. — Простите великодушно...

Он же, немотствуя, только ручкой махнул. Право, мне стало так его жалко, что я зазвал его к себе «выпить чайку». Думал ли я тогда, что говорю с этим жалким, в сущности, мальчишкой в остатный раз. Плечи его тряслись, он всхлипывал и, как заведенный, твердил:

— Важное, важное, самое важное...

На другой день, под утро, Веня Свистельский, накинув на шею свой же ремешок, тихонечко, чтобы не разбудить маму, удавился. Та, пробудившись и увидев высунутый язык и безжизненную голову сына, упавшую на плечо, прибежала ко мне, своему соседу, заламывая руки и голоса. Я не понимал почти ни слова — в голове моей дико проносилась мысль: «Умер, не сказав самого важного...»

Поганое же выдалось утро!

«Самое важное уносится в могилу...»

А семь часов — увы, более не назовешь воскресительным временем...

31 августа

Весь этот синий, пестрый и туго набитый ритуалами день я промаялся на похоронах Вени Свистельского: выносил, провожал, поминал.

Мелькало:

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер.
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить...

И еще мелькало: «Важное, важное, самое важное...»

1 сентября

«Раздражение на человечество на-кап-кап-ливается по капле».

Может, у Шкловского и по капле... У меня — так по две. Мои тетки (никак не привыкну, что они мои) льют уже потоки грязи. В школьном вайбере пост *про это* — оскорбительнее некуда. Пнули зачем-то Аглаю, а ведь ничегошеньки дурочки дурные не знают. Ну не знают, что...

Жену свою хаю, но никогда не брошу.
Это стала она плохая, а взял я ее хорошую...

Спишу их незнание на то, что...

Все растет на свете —
Выросли и дети.

И коли выросли — спрошу не по-детски...

Только вот убежден я, что их сподобили говорить *про это* родители. Да уж, родители попались так себе! Чуть ли не каждый второй — принцких кровей и живет по принципу: «Туда-сюда, и день прошел, и не устал, и деньги заработал, и сыт по горло...»

Нет-нет, не позволю им ребятушек портить — такую дрянь наворачивать!

2 сентября

Сперва спроси, затем старайся.

И я спросил, и я, конечно же, старался... И тетки мои узнали то, чего никогда не знали, ну а я предпочел бы забыть. Подействовало. Кажется, меня поняли.

Уже дома захлебнулся: «Помолиться б, но вот кому?»

Тогда и всплыло в сознание: «Я всем святым помолюсь... Святым можно, святых и среди нас много живет, я с ними даже знаком. Это обыкновенное явление».

5 сентября

Паутри (ну да, бытует на Нижегородчине такой диалектизм) я усердно практикуюсь. Я втягиваю воздух, будто утопающий, и выдыхаю. Получается как у Маяковского:

— Гнев, обогиня, воспой, Ахиллеса, —
Пелей его сына!

Разве не новый глагол для ругательного обихода?

Конечно, новый (даже сто лет спустя)!

А вот — и доказательный пример:

— Ох уж и буду сегодня «пелеить» моих теток и дядек!

7 сентября

— Володя, хочешь тюр-люр-лю?
— Хочу, но только чтоб много.
— Зачем тебе много?
— А чтобы всем хватило!

И в этом вот «чтобы» весь Маяк...

Пустяк.

Шутка.

От непонимания жутко?

Ясности подавай? Всегда?

Но поэт же сказал еще тогда:

«Тот, кто всегда ясен, тот, по-моему, просто глуп».

8 сентября

Маяковский бросил как-то Пастернаку: «Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом уютге». Борис Леонидович, конечно, поднял... Эти оба-два без лишних объяснений понимали разницу в поэтических подходах. И разница, замечу, была колоссальная. Естественно, что я вознамерился объяснить ее, эту разницу, ребятушкам, моим теткам и дядькам. Наверное знаю: все последние дни я именно потому и думал о Маяке.

И зря не времена — учинил урок.

— Открываем тетради, записываем... Борис Пастернак, «Охранная грамота», фрагменты... Судейкин, ты пишешь?

— Угу! — тряхнул рыжей головой Аркаша и, глуховато потягивая в нос, склонился над тетрадью.

— Кутилов, особого предложения ждешь?

— Владимир Николаич, да вы чего? Я же скриплю пером...

— Но язвительный Сысой дрыгнул пяткою босой...

- Какой еще Сысой? — нахохлился Кутилов.
- Загради уста, Илюша, вопиющие... И пиши, не буффонь!..

Я сдвинул шляпу на затылок и продолжал:

— Итак, ребяташки, вот что Пастернак вспоминал о Маяковском, о первой их встрече... Говорю под запись... «Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. „Облаком в штанах“, „Флейтой-позвоночником“, „Войной и миром“, „Человеком“. То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминанья требовались экстраординарные. Такими они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставлял меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть...»

Шляпу я присоседил на край стола и, оглядев моих теток и дядек, спросил:

— А зачем сегодня «привыкать» к Маяку? Вникните! На кону — пятёрка... Что, Эмма, уже вникла? Ну, прошу...

— Маяковский, — приободрилась Эмма Вилкас, — такой же новатор, как и Пушкин...

В поэзии двадцатого века он, Маяковский, — великанское лицо...

- Все?
- Все.
- Садись — пять с минусом...

Эмма Вилкас удивленно повела соболиной бровью и ответствовала:

— Ладно, хорошо... Но если вы, Владимир Николаевич, видите между нашими первыми пиитами разницу, то скажите...

И вот тут меня ковырнуло:

- Значит, завтра будет праздница?
- Праздник, детка, говорят.
- Все равно, какая разница,

Лишь бы дали шоколад...

— Да, Маяковский — новатор, — взвился вдруг я, — но не такой, как Пушкин... Просто доверься мне, неверующая Эмма... Даже с поправкой на время Пушкин остается «солнцем русской поэзии»... Маяковский же, да будет тебе известно, всего лишь «видел лунную сельдь и думал, что хорошо бы к той сельди хлеба». А впрочем, такого *всего лишь* я пожелал бы каждому пииту... Э-э... Ну что, есть желающие дополнить?

- А можно?
- Валяй, Гореликов!

— По-моему, — загорячился Алеша, повторяя мою интонацию и косясь на Эмму Вилкас, — именно с Маяка литература и стала другой... Иллюзия, что ли, создалась... Ну, мол, так «делать стихи» может теперь каждый... Пушкин же говорил противоположное: «Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок...» Так вот...

— Ставлю пять, Гореликов, — сказал я, не дав ему рассирениться и все испортить, — и благодарю... Одно только замечание... Ты, что называется, забираешься в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек...

Объяснившись с Алексеем Гореликовым, я обратился уже ко всем:

— Так, внимание! Было заявлено, что «именно с Маяка литература и стала другой»... Другой, ясно?.. Запомните, ребяташки, именно «Маяковский заставил часы русской поэзии пойти по-другому».

Шляпа перековывалась со стола на мой затылок, и я поинтересовался:

- Вникли?

Грянул хор:

— Вникли.

— Тогда записывайте! Из воспоминаний Пастернака о Маяковском... «Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничиваньи магнита, когда в сохранении всей внешности ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображение и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался. Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой...»

Совсем незагадочно помолчав и перелистнув страницу конспекта, я проговорил:

— Так, так... А это, пожалуй, последнее о Маяковском... Пишем! «Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись привычкой к состояниям, хотя и подразумеваемым нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда...»

Отложив обремененный записями конспект и найдя глазами Вилкас, я подытожил:

— Да, Маяковский действительно великанское лицо. Тут наша дражайшая Эмма, безусловно, права! Его рифма открывает мощные горизонты. Да, она не точная, ассоциативная... Ну, например, «мозгу-лоскут...» Но она, эта рифма, свидетельствует о расшатанности жизни. Соответствует, что называется, эпохе. Надеюсь, это каждый теперь уяснит... И еще одно... Сегодня, ребяташки, проверять ваши тетрадки я не стану... Но в следующий раз — Оскерко, Столыпина, зарубите это себе на носу! — я обязательно проверю... И тогда уж не обессудьте...

— А мы что, — въехал вдруг с вопросом Гореликов, — без домашки?

Кто-то отчаянно крикнул: «Неужели?..» А может, так только мне показалось, но я не стал этим мучиться.

— Ну, отчего же, Алеша, без домашки? — пожал я плечами. — К завтраму выучите любой понравившийся фрагмент из «Облака в штанах», ну а я свой уже.

И — загремел...

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досьга из-издеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный —
и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

Я обсмотрел всех — все обсмотрели меня.

Можно было бы, и порадоваться успеху, но в сей поистине сладчайший момент рыжеволосый и расхристаный Судейкин, чиркнув рукой по горлу, пробасил:

— Ну все, Горелый, придется разъяснить тебя!

— Будешь теперь ясным, Горелый! — попытался пробасить и Кутилов, но вместо баса породил лишь ложный звук — фальцет.

— Леш, — выдули фистулы и Оскерко со Столыпной, — нет, ну ты чего? Кто за язык-то тянул?

Пришлось вмешать голос:

— Ребятухи, нечего обращать к небу горькие укоризны. Лучше призовите его в свидетели своего морального бессилья против грубой силы... Моей силы... И вот еще что... Не Гореликова кляните, а учите «Облако»! Такие большие испугались капельного задания... Ай-яй-яй!..

9 сентября

С места в карьер...

Быстрым галопом — в урок...

— Кто прочитал «Облако»? — спросил я, войдя в класс и бросив, по своему обыкновению, шляпу на стол.

И — откололось...

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши...

И вот оно то — руки, руки, руки.

— А кто действительно прочитал? Кто выучил?

И снова лесисто да живо — руки, руки, руки.

— Ребятухи, а вот кому из вас эта поэма понравилась? — оживился сразу и я. — Так... Гореликов, Вилкас... Ну, я другого ничего и не ожидал.... Так, так... Лена Скородеков, Марина Помазан, вижу... Ага, Лапшова, Яриловец, Толбухина... Дима Бессараб и Дима Кан... Сто-лы-пина?.. Не верю глазам своим... И тебе понравилась?

— А почему нет? — разлакомилась Саша Столыпина. — «Облако в штанах» — это дико модная вещь... Она и мне заходит... Только я все равно, как вы изволите выражаться, не постигаю... Э-э... Неужели Маяковский ходил по улицам с такой пылающей головой?

Не церемонясь, я присел на край стола и, нахлобучив шляпу, отнесся отдельно к Столыпину:

— Вот, вот, вот... Замечательно, Александра, что ты употребила глагол «ходил»... Маяковский действительно «выхаживал» свои стихи... То бишь сочинял на ходу, держа строки в голове... И только потом записывал их на бумагу... Такая у него была память! Бурлюк, кстати, говаривал: «У Маяковского память, что дорога в Полтаве, — каждый галошу оставит». В своей знаменитой декларации «Я сам» поэт откровенничал: «Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то „доряне“. Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминай же — „Сие написано 2 мая. Павловск. Фонтаны“ — дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии...» И еще одно... Конечно же, с «такой пылающей головой» Маяковский стихи никогда не писал...

— Но ведь у него же разные стихи? Да?

— Поясни-ка, Гореликов, будь добр, — разохотился вдруг я, словно чуя поживу, да такую прибыточную, какой никогда еще не бывало, — что ты подразумеваешь под «разными»?

— Владимир Николаевич, я подразумеваю... Э-э, конечно же, поэзию Маяковского до революции и после... Ну, вы меня понимаете...

— Ах, ты об этом, Алеша... Ну что ж, тут ты прав... Только вот о таком «разном Маяковском» давно все сказано-пересказано... Как и про его, собственно, «лирический выстрел»... Еще в 1932 году Марина Цветаева в своей статье «Искусство при свете софитов» дала исчерпывающий ответ на вопрос, почему застрелился поэт: «Владимир Маяковский, двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом служивший... — кончил сильнее, чем лирическим стихотворением — лирическим выстрелом. Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил. Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни...»

— Вы, вы хотите сказать... — осекся Гореликов, и горькая складка обозначилась у его губ.

У меня же душа, что называется, повлеклась в примитив, и я мысленно выкричал:

Левой, правой, кучерявый,
Что ты ерзаешь, как черт?
Угощение на славу,
Музыканты — первый сорт...

Еще в мозгу, как говорится, прояснились дурманы, а я уже справился с собою:

— Будь благонадежен, Алеша! Я хотел бы утвердить мысль, что у послереволюционного Маяковского «в жизни, как в мякоти, созрели иные семена...» А впрочем, это нисколько не умаляет его дара... Ну вот какой еще поэт смог бы сочинить стихи о паспорте, а? О любви треклятой... О, это извольте... Но о паспорте... Черта с два! Маяковский же словно упивается произведенным эффектом. Свой паспорт он с грубой лаской наделяет различными эпитетами: «пурпурная книжица», «краснокожая паспортница», «молоткастый», «серпастый»... Ну и так далее, и так далее... Очень выразительны и характерны сравнения паспорта с «бомбой», «ежом», «бритвой». Поэт — это ну-

тром чувствуется! — рад ненависти в глазах полицейских чинов. Он готов пройти через страдания Иисуса Христа («был бы исхлестан и распят») за то, что обладает документом такой невероятной силы...

— А мне, мне, — заволновалась Лена Скороденко, — мне любо-дорого стихотворение «Послушайте!»...

— Да ты, оказывается, особа весьма чувствительная... — проговорил я, улыбаясь и радуясь этому девичьему проявлению непосредственности. — Я угадал? — Лена кивнула. — Нет, нет... Вы все, ребяташки, особенные, коли способны чувствовать настоящую поэзию...

Поэзия!

До истечения урока и большой перемены, захваченной, подобно Аркольскому мосту Наполеоном, мы с моими тетками и дядьками воодушевляли друг друга понравившимися фрагментами из «Облака в штанах».

А поскольку таковых было в избытке, то и вывернулось...

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции, драму Шекспирову
Таскал за собой и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

И еще кое-что, оттель...

Где показалось нам красиво,
Там много флагов приколоть.

И только Иван Белых, он же Эйван Белью, словно «вышедший из моды мамонт», глаза которого «тонны туманов слезят», был застлан, скучал и зевал во время биеннале нашего, чем распалил меня... Пришлось Некрасовым врезать гаду...

Князь Иван — колосс по брюху,
Руки — род пуховика,
Пьедесталом служит уху
Ожиревшая щека...

О, я врезал!

Я поднял громокипящий кубок! Эта была победа, одержанная в духе «великого человека». Странно, впрочем, что я вспомнил о Наполеоне на Аркольском мосту да еще и со знаменем наперевес... Ведь свидетельствовал же Огюст Фредерик Мармон, непосредственный участник Аркольского сражения (позднее — маршала, а в то время полковника и адъютанта Наполеона Бонапарта) иное. Такое: «Подойдя к мосту на расстояние двухсот шагов, мы, может быть, и преодолели бы его, невзирая на убийственный огонь противника, но тут один пехотный офицер, обхватив руками главнокомандующего, закричал: „Мой генерал, вас же убьют, и тогда мы пропали. Я не пушу вас дальше, это место не ваше“». Как видим, Мармон четко указывает на то, что Бонапарту не хватило до пресловутого моста каких-то двухсот шажочков. Так что и речи не может идти о том, будто главнокомандующий «схватил знамя, бросился на мост и водрузил его там». Во всяком случае, эта изящная версия самого Наполеона разбивается о свидетельство его адъютанта Мармона, находившегося рядом.

Ну да к черту военщину!

Да здравствует Маяковский!

14 сентября

Ломоносов со своим допушкинским ямбом и, конечно же, сам Пушкин выпестовали русскую поэзию и — шире — литературный язык. Маяковский сие довершил. И я, пожалуй, соглашусь с критиком: «В любом случае, ко времени появления Маяковского русская поэзия болеет однообразием рифмы, и, если бы не его реформа, бурно подхваченная Пастернаком и Цветаевой, и потом уже — многими, сейчас бы русская поэзия представляла собою сплошной верлибр, ибо исключительно глагольные и правильные рифмы, на которых сделана поэзия всего Золотого века, раздражают, в конце концов...»

19 сентября

Когда не хватает денег, хочется плакать...

Сегодня я плакал: хотелось сирэйни, —
В природе теперь благодать!
Но в поезде надо — и не было дэйнег —
И нечего было продать.
Я чувствовал, поле опять изумрудно.
И лютики в поле цветут...
Занять же так стыдно, занять же так трудно,
А ноги сто верст не пройдут.

А впрочем, чего слезы лить? Был бы роток — будет и кусок. Я на вторую работу пойду. Вон зовут же студентам «кулька» сценарное искусство преподавать. И — преподам.

Воспользуюсь сией акциденцией — именины дочери близятся...

Как мне не хватает ее!

Как же плакать-то хочется...

21 сентября

«Улыбка до ушей — будущее наших детей...»

Дочери вот-вот натикает тринадцать. А может, ей часики подарить? Да не простые, а золотые?

И подарю — улыбнется тогда моя Нелька...

Моя Неленька.

24 сентября

Часики горят, как бельма...

Я так и не подарил их — дочь уехала путешествовать по Европам. Новоиспеченный отец ее, Плахота Леонид Григорьевич, отправил Нельку с Аглаей Терентьевной за границу, дабы других посмотрели и себя показали. Нелька, видимо, чертовски довольна — уже прислала мне открытку из старой и умышленной Праги. А теперь — цитирую — «держим с мамой путь в славный город Париж...»

Любит ли ее Плахота? Нет! Он принял Нельку к сведению. Фу, таким быть!

Вчера моей дочери натикало тринадцать, но я не увиделся с нею. Что сказать?

О, погоди,

Это ведь может со всяким случиться!

Лучше, пожалуй, ничего не говорить, а молча смотреть на часики...
Да, горят, как бельма.

26 сентября

Аглая тоже начала слать открытки с чешскими, французскими и итальянскими марками. Я читал эти ее трогательные послания ко мне и припомнил «Визитные карточки» Бунина...

— Знаете, — сказала она вдруг, — вот мы говорили о мечтах: знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой? Заказать себе визитные карточки! Мы совсем обеднели тогда, продали остатки имения и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их, а как я мечтала! Ужасно глупо...

Но отчего же, глупо? В имени на визитке скрыта наивная надежда на воплощение невоплотившегося в жизни. Да-да, на визитных карточках или просто как в «Ревизоре»: «...скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский...»

А впрочем, мечты Аглаи воплотились. Только вот я виновником такого воплощения никогда бы не сделался — понимаю это, читая заморские открытки ее.

30 сентября

Последней была открытка из Венеции.

Аглая повествовала о каком-то совершенно невообразимом гондольере Вито, плавно, бережно и молча скользившим в узких каналах. А еще вспоминала зачем-то Ахматову...

О, как вернуть вас, быстрые недели
Его любви, воздушной и минутной!

Вот интересно: она и Плахоте такие открытки посылала? О гондольере Вито, о домике, где, говорят, жила Дездемона? Чехов описывал его так: «наивный, грустный домик с девственным выражением, легкий, как кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одною рукой...»

Что-то убеждает меня, что Плахоте она не посылала ничего...

3 октября

Сей день был наполнен Лермонтовым, но запомнится Дурновой.

Был второй урок в начале, когда в класс заглянула Надежда Валентиновна и стала делать мне какие-то знаки, означавшие, видимо, что я должен выйти к ней.

«Раз уж на урок явилась, — подумал я, — раз так усердствует, значит, что-то стряслось...»

Математик Дурнова баснословный и, как говорится, отдающий жизнь вечному, нескончаемому труду. Молода она или стара? С великим соболезованием признаю, что возраст определить ее достаточно сложно. Она не пользуется косметикой, не укладывает волосы подобно гречанке и не рядится, скажем, так, как Аглая. К слову, Аглая, увидев ее, фыркнула бы. Если выкрасть минутку из будущего, я любопытствовал бы, конечно, у кого-нибудь в учительской, сколько Надежде Валентиновне годков. Но полагаю, что и пятидесяти еще не набезало.

Разглядывая эту полную, с апатическим лицом женщину, я словно впервые увидел ее глаза. Были они голубыми и не сонными, как мне казалось прежде.

— Простите, Владимир Николаич, меня за-ради бога, — заговорила она, волнуясь, — но я вынуждена вас обеспокоить...

— Ничего, Надежда Валентиновна, обеспокойте!

Дурнова приободрилась:

— Ваш... То есть наш с вами Гореликов совсем не учится... Э-э, перескакивает, что называется, через десять мыслей в одиннадцатую... А ведь был у меня первым по математике, — Надежда Валентиновна деликатно вздохнула. — Вы уж на него повлияйте!

— Хорошо, что вы пришли ко мне, а не к начальственным чинам, — кинул я вновь на Дурнову пылливый взгляд. — Нынче же постараюсь перепобедить Алешу...

— Хорошо, Владимир Николаич, что вы так это воспринимаете!

— Как же иначе? — отвечивал я. — Как же...

Любезен я был, замечу, до конца и проводил Дурнову. Мы премило, по-дружески распростились на пороге ее класса. Когда возвращался к себе и думал об Алеше Гореликове, вдруг вывернулось из памяти: «...графини, маркизы, публичные женщины — все сбилось в одну яростную, полусумасшедшую массу укушенных бешеной собакой...»

«А может, Гореликов влюбился? — спросил я сам себя и самому же себе наказал: — Э-э, надо бы выяснить, в дверь какого романа он вломился...»

И вот прошло, нет, не все прошедшее, а время урока.

Я предложил моим теткам и дядькам отложить всякое попечение о Лермонтове в надежде на то, что завтрашний урок даст нам новую пищу для размышлений. А потом — отпустил всех. Одного только Гореликова попросил остаться еще на минуту. «Математичка жалится... — сказал я ему. — Ну, что случилось? Выкладывай!» И он — выложил. Порассказал, значит, о тренере своем хитроизмышленном Фалалееве. Фу, таким быть! Я не мог не поверить. Правда такова, что вынуждает меня действовать. А вот как именно, пока не постигаю... Впрочем, до субботы два дня — еще постигну.

4 октября

Фалалеев...

Что есть Фалалеев? Хитрость. «А хитрость — как мышь: обежит вокруг, прячется...» Как не дать ему фалалействовать?

Матушке Ильи Ильича Обломова, по моему разумению, куда как проще было — к ней все совались с советом. И — как следствие: «Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки».

«А вот мне никто ничего не присоветует, — ковырнуло вдруг. — Эх, я... Но что тревожится? Впереди еще день и день. Хотя нет, уж — только день... Вот будет он съеден, и я схвачусь с этим молочными негодяем... С этим Фалалеевым...»

5 октября

«Но уж темнеет вечер синий...» В именно такой вечер я и видел Гореликова с Вилкас — бесстыдно целовались в подворотне моего на богадельню похожего дома. Неожиданно, что именно Эмма дала ему, Алешке Гореликову, «у себя место в сердце». Этому мальчишке, «не выигравшему никакой победишки». А впрочем, это несколько не дивит. Вон с Обломовым такое случалось! Я-то помню: «испорченные ищут сближения с ним — чтоб освежиться от порчи...» Чем или кем испорчена Эмма? Не знаю, но какая-то тайна хоронится в черных ее глазах.

7 октября

Не далее как вчера я поднял себя с дивана: «Вставай... пятого половина. В сто пятую школу езжай — Гореликова выручай...» При этом вспомнились собственные Алешкины слова: «Ну, там у меня треша... То есть тренировка...» И отчего-то мелькнуло: «Нос чешется? В рюмку смотреть. А еще, говорят, к драке...» Я перекрестился и трижды прочел «Отче наш». Не споспешествовало, поскольку и подрался, и напился. Не скажу, чем пробавлялся после побоища Фалалеев, но лично я — водкой. В общем, так себе выдалась суббота!

11 октября

Зачитываюсь Откровением Иоанна Богослова и понимаю, что для каждого оно свое. Изличное. Это вовсе не собрание жутких гравюр Дюрера, сеющих отчаяние. О нет! Это книга, которая вселяет в меня надежду. Благовестит. И я обнимаюсь душой с Андреем Тарковским. «Апокалипсис — самое великое поэтическое произведение, созданное на земле, — считал режиссер. — Это феномен, который, по существу, выражает все законы, поставленные перед человеком свыше, это образ человеческой души, с ее ответственностью и обязанностями».

13 октября

Может, следовало не бить Фалалеева, а зачитать Откровением? Нет-нет, антиутопия...

16 октября

Тренерский свисток, абонированный мною у Фалалеева, все эти дни возлежал рядом с пепельницей. Сталисто и ново блестел. А теперь он — в окурках. Почему? Так ведь известно: «Воспоминания — один только стыд и рвание волос».

22 октября

Намедни познакомился с Эдуардом Яновичем Вилкасом — отцом Инги, Киры и Эммы. И, признаюсь, хотел бы тотчас же раззнакомиться... Нет, право, он походит на большую жабу... Фу, таким быть!.. Но сейчас не о том. Я тут вынюхал свидетеля, снявшего на видео, как изверг мутузит свою средненькую... Киру... Видео это теперь у меня, и я должен... Нет, просто обязан передать его следствию... Ну или в конце концов — учинить свое...

Вот Иван Франсисович Гори-Пожар, соседствующий с «этим волком, с этим Вилкасом», собственно, и снял скандальное видео. А еще побожился, что родитель и раньше рукоприкладствовал. «Только, увы, этого не удавалось запечатлеть... Но нынче уж — сподобило!..» Так, между прочим, Гори-Пожар мне тоже не показался. Фу, таким быть! В нем, как говорится, читалось «желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них...» И все-таки, предупреждая его риторический вопрос «Неугодлив, видно?», я поблагодарил Ивана Франсисовича, как мог.

А теперь нечто фантастическое. Будь я шестисотлетним дворянином, а Гори-Пожар и Вилкас моими холопами, я предпочел бы как следует высечь их. Только боюсь, Вилкас уже в самую большую жабу надулся бы, а Гори-Пожар, Иван Франсисович подвертел бы что-то навроде лебедевского...

— А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек и тем самым запечатлел...

25 октября

О, я не хотел, чтобы мрачились дни Эммы Вилкас!

Особа она недоверчивая — устремляя мысль на нее, убеждаюсь, что это еще мягко сказано. Так вот, дабы вызвать на откровенность, я сунул ей в белы ручки «Бойню номер пять, или Крестовый поход детей» Курта Воннегута и предложил по прочтении сделать доклад. Как бы невзначай оставил в книжке закладку. Последняя указывала на любимую молитву главного героя — то и дело отключавшегося от времени Билли Пилигрима. Звучала молитва так: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменять то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого».

Ожидаемо, что ученица моя — сей проницательный знаток — проглотила модернистский роман скоренько, за какие-нибудь дня полтора, и тоже, как бы невзначай, оставила *сообщение*. А точнее, воспользовалась моей же закладкой да еще ногтем отчеркнула на странице следующее: «К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее».

Словом, все удалось мне играючи — Эмма желала выговориться.

Но тут выходные и — асимметричная пауза, как у Замятина...

Эмма Вилкас, скорее всего, не теряла времени и «рылась в своей опытности». Намеревалась, в чем я совершенно убежден, добыть из меня после субботы с воскресеньем все, что бы я ни схоронил. Своего же, пусть и дико терзаясь, она ни за что не захотела бы мне открыть. Ну а я приуговаривался к разговору начистоту. Мысленно, конечно. И он, разговор этот, мог быть таким:

- Эмма, что затаила ты в самых глубоких пропастях души?
- Как вы могли сделать такой несообразный вопрос?
- О, прости, Эмма!
- Я вас, Владимир Николаич, спрашиваю: как вы могли забрать такую нелепость себе в голову?
- Нет, право, прости!
- У вас заело, что ли? Прости да прости...
- Ты сердисься, Эмма... Понимаю...
- Я не сержусь, но не упрекайте меня, как нищего, наготой...
- Что это такое? Что-нибудь ужасное?
- Владимир Николаевич, вы хоть бросайте на меня свой пытливый взгляд, хоть нет, но, повторюсь, избавьте от упреков...
- Не постигаю, о чем ты?
- О том, что якобы я бесчестная... Что покрываю родителя... Этого изверга!
- Эмма, помилосердствуй! Да разве я когда говорил?
- И не надо... Я — чувствую...
- Вольно исказить правду, понимаю...

И вдруг я осекся — больше даже в мыслях не хотел резни для бедной Эммы. Если чего и хотел я, так это помочь ей. Точного плана не было, как, впрочем, и всегда. Я бы мог, например, нацепив маску (и, конечно же, укрываясь плащом и тьмой), подкараулить ее родителя, скрутить и вывезти за город. На одну из пустующих в это время года дач. И чтоб как по Хичкоку: «Ваши страхи — моя жизнь...»

«После выходных, все теперь после выходных...» — рисовал я, как говорится, в уме узор своей будущности.

Может, оттого, что *рисовал*, и вспомнилось: «...это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет...»

27 октября

Нет, не до Эммы было мне после выходных!

Сегодня, в понедельник, я взял трехдневный отпуск, чтобы срочно ехать в Петров Вал. Я подчинился необходимости. Единственный мой дружок — Александра Дialeктова... Сашенька... «прекратила жизненный дебют»... Бросилась под поезд, как явствовало из Аглаиной телеграммы.

28 октября

Если бы въезжал в Петров Вал ночью, я бы заметил, что «ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспаленно бегут в темноте цепочками». Но это был день и потому, въезжая в «самый скверный городишко на всей Приволжской железной дороге», я видел бетонную стену с надписью «Цой жив!». И почему-то думал, что надпись эта составлена из «особенно тех великопепных траурниц и желтушек», каких так много на городском кладбище летом. Вот только было уже не лето, а поздняя осень, почти предзимье. И — студило: «Сашенька моя довольно нехорошо кончила...»

30 октября

На кладбище я не плакал настоящими слезами, я вообще не плакал. Там. Обошлось и без красного слова у гроба. Пока не заколотили его, я все глядел на Сашеньку оставившимся взглядом.

31 октября

«Цой жив!»

Я тоже — на кухне...

...Синим цветком горит газ...

Все, что было в эти три дня, я на ладонке вижу...

Аглая у меня — со мною — в обшарканной петровальской гостинице. Пришла проститься. И осталась — такой на нее стих нашел! «Адюльтерщица, — говорю, — изменила Плахоте?» Она же, касаясь меня тяжелыми упругими грудями, ответствовала: «Шиллеров в чистом состоянии не бывает — их выдумали...» И недолгое время спустя, комкая простыни, добавила: «Сашенька потому свою разнесчастную жизнь прервала, что Андрон отказался взять из приюта доченьку... Донечку... Ты не знал, но Сашенька и впрямь вознамерилась ее приголубить. Только о том в остатные дни и твердила... Даже заговаривалась, болезная... И все мечтала, мечтала по-настоящему понять, что такое полная занятость... матери... Теперь ничего не исправить, увы... Не мсти Андрону, ладно? Обещай!»

Я — неохотно, впрочем, — обещал.

Отчего-то вывернулось: «Все это ведет в будущее и там понадобится».

Неужели месть? О нет, нет, это вовсе не *скрепляющая* идея! Но как же там было? А помню, помню, вспоминаю: «Удивительно, как я скор и перевертлив в подобных случаях... Э-э, песчинки или волоска достаточно, чтобы разогнать хорошее и заметить дурным...»

И вот утром, а точнее, дурным утром, когда я уже тряса в пригородном поезде, позвонила Аглая и сбивчиво так сказала: «Бог не свой брат, не увернешься... Представ-

ляешь, Андрон в лазарете? Показал следователю, что его усахаривала толпа...» — «Ну надо же!» — воскликнул в ответ я, но Аглая не уловила недоумения, вызванного тем, что эта шельма Андрон мог спутать меня с какой-то там толпой.

2 ноября

Сказано ведь: «Вообще же, ничего не делать всего лучше; по крайней мере, спокоен совестью, что ни в чем не участвовал...» Я-то как раз и не спокоен. Сбвещуь.

9 ноября

Когда же удастся мирно опочивать от волнений?
Когда буду благообразен.

11 ноября

Третий день думаю и вот что удумал: благообразие — есть мечта.
А впрочем, впрочем: «Возьми песочку да посеи на камушке; когда желт песочек у тебя на камушке том взойдет, тогда и мечта твоя в мире сбудется — вот как у нас говорится».

15 ноября

Мгновения, мгновения — в тартарары.
«Видишь ли, у нас вообще что-то не так со временем, мы неверно понимаем время...» Будь я письменником, ну, например, магическим реалистом, я бы задумался. Нет, право, время может *застрясть* в моей комнате, как это произошло в комнате Мелькиадеса.
И тогда (в моем случае) — всегда ноябрь и всегда воскресенье.
И тогда — я не оставлю дом-богательню из красного замшелого кирпича. Не явлюсь в школу из кирпича белого, на котором не начертано «Цой жив!». И не поговорю наконец с Эммой Вилкас об ее родителе. Напрямки.
А еще я отлично хорошо знаю, что, пройдя по кругу, время замедлится и даже остановится, но потом *сознательно* убыстрится. И конечно же, произойдет его деление на мифологические эпохи (первотворение, исход и так далее), которые завершатся грандиозными катастрофами...

16 ноября

Эмме Вилкас и отпереться-то было сложно — я показал ей видео, снятое Гори-Пожаром. Горе-соседом. Фу, таким быть!
(Здесь замечу в скобках о том, о чем узнал не очень долго спустя, а именно утром, то бишь теперь, когда пробудился.)
Местом, где все отозвалось, был мой сон.
Да, я показал Эмме видео именно в этом извилистом месте. Во сне. И мы — объяснялись. Как это понять? Да как и стихи Еременко. Ну, те, что «об изменениях, слишком реальных в окрестностях яви».

Уже его рука по локоть в теореме
и тонет до плеча, но страха нет, пока
достаточно в часах античного песка,
равно как и рабов в классической галере.

Еще полным-полно в запасниках вина.
 Полным-полно богов в забытой атмосфере,
 и смысл той прямой, где каждому — по вере,
 воспринимается как кривизна...

Нет, нет, здесь...

«Кривизна как отрицание прямой, как невозможность и прямого высказывания: что ни скажи — воткнешься в чей-нибудь след...»

И тут вдруг выяснилось: «...мы тогда взаимно почувствовали, что обязаны друг другу многими объяснениями... и что именно потому всего лучше никогда не объясняться». Странное дело, право, но оттого, что такое выяснилось, я твердо себе сказал: «Мы объяснимся с Эммой».

19 октября, декабря или ноября

Время — условно...

Я условно гляжу теперь в паутиненное пауками окошечко и вижу себя с Эммой... Уже понедельник октября, а может статья, что декабря. Но нельзя также исключить и понедельник ноября. Тот самый — в календаре чернеющий девятнадцатым — понедельник. О да, это мой день, мой табельный! А иного для объяснений с Эммой я и не мог выбрать: только очень понедельничным и табельным! Совсем уж верно (из-за условности) мне ни за что не сказать. Точное время не устанавливаемо. Тем более, как известно, «у нас вообще что-то не так со временем, мы неверно понимаем время». А соответственно, и понедельники.

Какая же казенщина это «соответственно»! Вот «соответствовать» хотя и звучит похоже-официально, а нравится мне куда как больше. Да и толкуется (зри — в Толковый словарь Ушакова!), что «этот человек в состоянии справиться с чем-либо, сделать что-либо». Нет, нет, речь в данном случае вовсе не о коллеге Ушакове, а обо мне, Соколове. Я — справился, я — сделал (объяснился).

И конечно...

Тьма низких истин мне дороже
 Нас возвышающий обман?

Но я не хотел бы обманываться.

Эмма Вилкас и без того оглядывала меня и все кругом «с легким прищуром всепонимающих глубоких глаз». А впрочем, о глазах этих можно было бы сказать, что они всезнающие и черные. В них, кстати, совсем ничего не вычитывалось, пока ученица моя этого не желала.

А в этот раз вдруг пожелала — да так, чтобы и вычитывания пропустить...

— Кира всегда бита, — рвала она, — бита изощренно, куском мыла в носке... Ну а к моему животу родитель, как вы его называете, приставляет стальное жало кухонного ножа... и, усмехаясь, говорит: «Я не причиню тебе колющей раны, довольствуйся — целительной...» А вот Инге... Инге следует задать вопрос, но только правильно его сформулировать... Не что тебя понудило... А кто с тобой насильно делает все, что хочет... — Голос Эммы, подражавший косому дождю, утратил вдруг хлесткость, но она все же выговорила: — Неужели ему так трудно снять проститутку? А еще в церкви... скот... причащается...

Словно испугавшись этой своей откровенности, ученица моя бросилась вон из класса, оставив меня одного. Она по лестнице вниз — я следом. Она в раздевалку — я туда же. И — говоря...

- Эмма, так продолжаться не может... Вникла?
- Но я не хочу, чтобы вы вмешивались.
- Называй это как хочешь, только...
- Что только? Заявите на него?
- Нужно решиться, Эмма... Иначе добром это не кончится...
- Не на что мне решаться... Оставим, Владимир Николаич! Говорю же, я ничего не хочу... Ничего...
- Эмма!
- Вы — не благотворитель...

А дальше было — как при замедлении кадра. Киношно отвернулась. Затряслась. Голос ее прервался; она продолжала, как бы уже задыхаясь: «Ох, не лезьте в благотворители...» Еще мгновение и — в школьной раздевалке остался лишь я да Гореликов, наверное, знаю, полагавший, что не видим мной. Не замечен. Ну а я разубеждать не стал.

О чем я тогда думал?
«Время — условно...»
«Точное время не устанавливается...»
«Время принадлежит Сатане... его, как клубок, нечестивый носит в своем кармане, разматывая ответственному своему пониманию экономии...»

17 декабря

«Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет...»
О нет, это не обо мне! Сам я вряд ли записывал бы, поскольку уже с месяц не обращался к дневнику. Но тут пришлось — «поди удержи себя, когда, расстанцевавшись, захочется сделать хорошенькое па?»

Что еще за па? А вот: мои тетки и дядьки — нет, не то чтобы все, но многие — подышали в классе запретным парком, и физрук их сгрябчил. Ну да, тонкое обоняние у специалиста! Теперь же катастрофа и — необходимый в таких случаях самовар. Вот только до пресловутого самовара, уверен, дело не дойдет.

Естественно, система бредоизолирует. «Каких только слонов не делают тут из мух!» Да, очеривают всех... и виноватых, и не очень. Но я не оправдываю, конечно, моих теток и дядек... Что идиоты, то идиоты!.. Табачники чертовы! Словно не знают о штуках, у которых, как говорится в известной загадке, огонек с одного конца, дурачок — с другого. Словно не ведают, что эти штуки прикончат их...

О, не хочу быть ханжой! Я — не ханжа. Будучи учеником девятого класса такого-то, я и сам дымил на переменах. И жал вострух с самыми выпуклыми изгибами. И — дрался. Потому как...

Кто-то справа осчастливил —
Робко сел мне на плечо.

Да и теперь мало что изменилось. Дыблю и дерусь, дерусь и дыблю. Лишь вострухи... запропастились, заглушались, забылись... Разве что одна... не забывается... И как бы ни грустил, как бы ни воскрешал в памяти я эту одну, с маленькой родинкой, но...

Высоко в небе облачко серело,
Как беличья распластанная шкурка.

Нет, нет, на сходбище по случаю скандального употребления парка (ведь тайное — увы и ах! — обнаружило себя) ни родители (фамилии коих опускаю), ни завуч Спи-

вакова, ни директор Филипский (о, их фамилии опускать нельзя!) побывальщины моей так и не узнали. А может, зря? Ведь сказано же: «Характеристика надета на нем, как доспех». Но тут я отринул все, не идущее к делу. И как учитель литературы, как «маленький жрец у ног своего божества», предложил лечить скандал самой литературой — создать студию и сыграть для начала «Клопа».

И — услышал только...

— Отчего же «Клопа»?

— Да оттого, Галина Петровна, — тотчас же пресек я на корню попытку Спиваковой закапризиться и поднять бучу, — что «в клопе, хоть он и паразит, течет человеческая кровь».

Пресечь-то я пресек, но воспоминание, разверзшись, тут же и ударило: «А посади на место Юпитера какого-нибудь литератора или дуру деревенскую бабу — грому-то, грому-то что будет!..»

29 декабря

«Не менять своей позиции, как скелет в могиле...»

Что ж, такая позиция мне подходит!

И потому — прикрываясь больничным — я взял да исчез. На неделю... Для школы, для профкома и так далее... Etc... Не скажу, дабы не быть господином совравшим, что сочинял всю неделю сценарий постановки «Клопа». А все-таки именно кровососом я и занимался — имею в виду этого «диавола и агела его», Вилкаса.

Где-то, кажется, у Воннегута попало: «...я буду воздерживаться от того, чтобы позволять себе такие замечания, как „вот черт“, „сучья лапа“ и аналогичные бранные выражения...» А потому — буду воздерживаться... Но Вилкас — все одно — «диавол и агел его»! Фу, таким быть!

О, я помню его отнюдь не покаянный хохот... И причудливо-визгливый жаргон... и пощечины дочерям. Во дворе, у машины, под вечер. Тогда, в канун католического Рождества, я не набросился на Вилкаса — не хотел выдать себя до времени. Я должен был стоять прямо, как стоит праздничная елка. Но это не наговор на изверга, а факт. И я не прячу его, этот факт, словно новогодний чулок с подарками, дабы другие разыскивали. Я свидетельствую: Вилкас насмеялся надо всем, над чем только мог. Надо всеми. И даже Богом — этим верховным осуществителем определений судьбы. Не исключаю, впрочем, что Бог и есть сама Судьба. Только вот меня никто об этом не предупреждал. Но...

Скажу себе «нельзя» — пусторечие вредно.

Итак, всюду следовал я за Вилкасом — человеком ложным и лукавым, человеком разноликих личин и видений. Да, всюду следовал я за ним, приближаясь в безмолвии. И вот наконец в тени ночи, ломанув полированную крышку топливного бака его дорожной машины, я через воронку влил раствор сахара. Не поскупился. А утром, когда живоглот, по обыкновению, собрался на воскресное причастие, ему вдруг пришлось от недостойного ритуала своего отказываться, вызывать эвакуатор и нестись в сервисный центр.

Чего я достиг?

Принудил врага искать целения от яда? Каменной ризой одел? Острым мечом поразил? А может, низверг прямо в Тартар?

Нет, нет, я достиг лишь некоторого послабления для Инги, Киры и Эммы. Их родителю, занятому починкой машины и оглядкой по сторонам (теперь он вынужден оглядываться), будет не до грязных и невыбродивших намерений все новогодние праздники уж точно.

15 января

«Молчать — казалось мало. Хотелось и не дышать...»

Но еще более... хотелось репетировать...

И тогда мы начали репетировать «Клопа».

Алешку Гореликова я назначил — «так разыгралась роль его в обществе» — вторым режиссером. И — посоветовал: «Шляпу, Гореликов, не снимай — мало ли куда нас занесет...»

Он должен будет решить сложную задачу — помочь мне и труппе поставить «Клопа». Особенно это касается второй части спектакля. А именно — замятинской. Модернистской... Сдирающей с жизни налет лжи...

Ее, эту часть, сам же Гореликов и наворотил. И надо отдать должное — наворотил превосходно! Нерушимо-хорошо!

Как же там было?

Как отверзалось и откликалось?

Память моя не серебру подобна, я помню: «Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею...»

Вот Алешка Гореликов выжил!

А Эмма? Эмма — с нами и уже примеряет роль. А точнее — две. Зои Березкиной... и профессора... А в общем — «дев с не ведомыми никому скорбями и радостями».

16 января

Теперь, особенно теперь, вот в эти самые дни, Эмма Вилкас напоминает мне Офелию, уже подверженную сумасшествию и словно бы восклицаящую: «Мы все знаем, кто мы такие, но не знаем, кем мы можем быть...»

В голове томится одна бедная, бессольная, мысль: «Отчего-то боюсь за Эмму...» Гляну, гляну на нее, репетирующую роль, одну-другую, и сердце мое приостанавливается... И рассыпается тоска... «Милая девушка, могильный цвет...»

Премьеру же — расцветив финифтью и фольгой — приурочим ко Дню защитника Отечества. Так порешили мы с актерами и актерками!

Ну а что?

Успеваем...

26 января

Так успеваем, что кричим:

Не хотим в ворота, разбирай забор!

В общем, репетируем — рвем и мечем...

9 февраля

Рвемся и мечемся...

Но — несмотря на надвигающийся улялюм — репетируем союзно.

Все это повторяется каждый день, как урок...

Пора бы привыкнуть.

17 февраля

Пережить бы пятидневные муки. Самоковырания. Роды премьеры... И — красную строку!

22 февраля

К черту красную строку!
К черту премьеру! К черту все!
Все надежды обглоданы новостью.

Новость привела меня в остолбенение. Сегодня утром сестры Вилкас скандально — в наручниках — увезены полицией. Инга и Кира содержаться будут особливо. Особливо — от Эммы. Они — игралитце в ее руках.

Вместе с Эммой они, как уже выяснилось, и уходили родителя... остроколким ножом.
Отныне...

...Его черная держит могила...

«О, сам ты, Вилкас, напросился на этот нож! Но право, лучше бы чума сжила тебя со свету...» — такие вначале отделялись от своих веток и падали мысли. И только уж в конце легла эта: «Покойся с миром!»

Без оговорок...

Я страшно виноват пред Эммою одной — не смог не допустить я... Сумасшествия ее...

И мне отныне лишь следует «стремиться против собственного течения по собственному желанию».

И — побелело слышать...

Офелия, бедняжка, утонула.

И — глухо вторить...

Как, утонула? Где? Не может быть!

Все, все надежды обглоданы новостью.

Я лишился покоя, сна и даже чертова аппетита. Остается бросать ложку и бормотать: «Где стол был яств, там гроб стоит...»

Нет, нет, я должен что-то... сделать...

«Ужас не слово, а состояние — всем видам человеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью...»

28 февраля

Переведался со следователем.

У следователя — вот те на! — не только подходявая фамилия Сущий, но и явная способность улавливает суть. Не то что у иных безразлично-вежливых господчиков. Этих лодырей кормленных! Этих интересантов!

Если кто и поможет Эмме с девочками, то это именно Сущий. У него такое простодушно-ясное воззрение на мир! Ведь следователь, в чем я, собственно, убедился, отлично хорошо понимает поговорку: «Изо ста кроликов никогда не составитя лошадь, изо ста подозрений никогда не составитя доказательств...» Главное же вот что... Константин Иванович Сущий убежден, что «всеразоблачающее время ничего не оставляет под спудом...»

Ну а я?

Зачем пишу?

Зачем этот дневник?

Зачем в крайности вооружаюсь последним аргументом?

Видимо, это просто свойственный человеку способ делать жизнь более сносной... Известно же: «Горе само не любит оставлять человека... Горе истомить в себе нужно...» Соколов не должен отказываться от Соколова. Зачем с таким презрением глядеть на себя?

Право, незачем.

И вообще, фаталисту фаталистово!

Итак...

Фаталист

Чеченцы заставили в эту ночь броситься всех к оружию. Запылала окраина станицы, завязалась сильная перестрелка. Печорин не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно командовал.

Когда чеченцы отступили и станичники принялись тушить пожар, прапорщик Печорин, никем в царившей суматохе не замеченный, пробрался на гауптвахту.....

Послесловие

Удостоверившись, что «Фаталист» вырван чуждой рукой и крупно прожить эту историю впрок не представляется возможным, я закрыл дневник Владимира Неодимовича Неистового. Я обратился к памяти — «все еще уязвленной и болевшей».

И — развернулось из Гоголя: «Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина...»

Кто я, а кто Гоголь! И все же попробую-ка извлечь!

Вот в чем он, Владимир Неодимович, никогда и никому не уступал, так это в готовности на все опасности. И пусть его оскорбляли сонные люди, но он «никогда не допускал себя быть униженным...» И вырисовывалась тогда в нем неопределенно-угрожающая черта. О, даром землю не бременил! Неистовствовал! С ним-то и шутить было накладно! «Нечто пиршественное виделось ему в сражении...» И будто не Вальсингам Пушкина говорил, а говорил он:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведать мог.

А это его настойчиво повторяющееся: «Фу, таким быть!» А завещательная рацея: «Шляпу, Гореликов, не снимай — мало ли куда нас занесет...» Я всегда помню... А еще помню: «Душа его была вспаханным полем. Каждое слово всходило». Каждое *чужое слово*. Никто так не был наполнен им. Никто так не переосмыслил его... Как он...

Веровал ли он в Бога? Я держусь того мнения, что не знаю. Помнится, однажды мы что-то заинтересованно обсуждали, о чем-то голосно спорили, и Владимир Неоходимович впроброс сказал: «А ты, Алешка, оказывается, совсем забыл Воннегута...» И, перебивая паузу, продолжал: «Евангелие учило вот чему: прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни?» Вроде кощунство, а вроде и нет.

Ну а сие? «Вот мое главное возражение против жизни как таковой: слишком уж много самых чудовищных ошибок можно совершить, пока живешь не свете...» Что есть сие: пощечина жизни? А быть может, горькая ирония?

А нелады Владимира Неоходимовича со временем? Или времени с ним? «Уже понедельник октября, а может статья, что декабря. Но нельзя также исключать и понедельник ноября...» Что тут скажешь? Разве что... «Экая долгота! Видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой...»

Да, именно так я теперь воспринимал моего дорогого и незабвенного учителя. Он поворачивался ко мне сокровеннейшей глубиной своего естества. Я же был словно тот ребенок, что «все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом». И все вслушивался в разговор... Был он или не был? «Они говорят, что это выдумка». — «А разве это не так?» — «Я спросил... не выдумка ли он». — «Ну и что же он тебе ответил?» — «Он сказал, что если бы он был выдумкой, это была бы самая лучшая выдумка на свете. Но дело в том, что он не выдумка...»

Вот до чего расхотелось чувства! Вот чем населилось мое воображение!

«Смерть, — вот что мелькало теперь, — незаменимый повод, чтобы произнести естественное слово „конец“... Что вообще я знаю о смерти Владимира Неоходимовича? Ничего или почти ничего, что соответствовало бы действительности... А о жизни? О жизни под небом меланхолии? Только то, что, „имея, однако, право и возможность на любовь очень высокого стиля и счастье бешеного напряжения“, он, увы, не имел. Ни того, ни другого...»

И вдруг, как писали в прежних романах, раздался... звонок. Звонил вездесущий следователь Суший и будто бы для того только, чтобы попотчевать меня объяснением. Однако это его объяснение более смахивало на очередное изысканное оскорбление...

— Алексей Алексеич, буду краток: «Фаталиста» я вам не отдам... Он дорог мне и самому... Э-э, как память... Теперь — следующее... Пройдет день, оный день, и вы получите от меня тетрадку, завершающую дневник Соколова... Это — повесть или сказка... Ну или не знаю что... пронциайте сами... Называется... «В Персию»... Написана на манер того, как это делал в сборнике «Тысяча и одна ночь» арабский сказитель... Составитель... Или еще лучше... Гм, говорено же... «Да от сказки от твоей... душе счастье и уму раздолье...»

— О, непременно дождусь присылки сей тетради, — ядовито сказал я, — дабы познакомиться с замысловатым текстом, напоминающим, согласно вашей же аттестации... э-э, хитроумный узор персидских ковров... Не так ли?.. — слишком чувствовал я, что сыплю мимо, но продолжал: — Не отвечайте, я не вынуждаю, в вашем ответе нет почти никакой надобности...

Суший, впрочем, и не потрудился ответить.

Отделался так.

...Сумерки спускались в глубину комнаты.

Я спускался в странное подобие сна. Было все сумрачно-красным. Тянуло гарью. И будто бы сам Владимир Неоходимович в облике старого, но крепкого не по годам дервиша произносил пошепту: «А пожар разъярялся все жарче и грознее, уже в небе неслось пламя...»